



АХАРОН АППЕЛЬФЕЛЬД • ПОРА ЧУДЕС

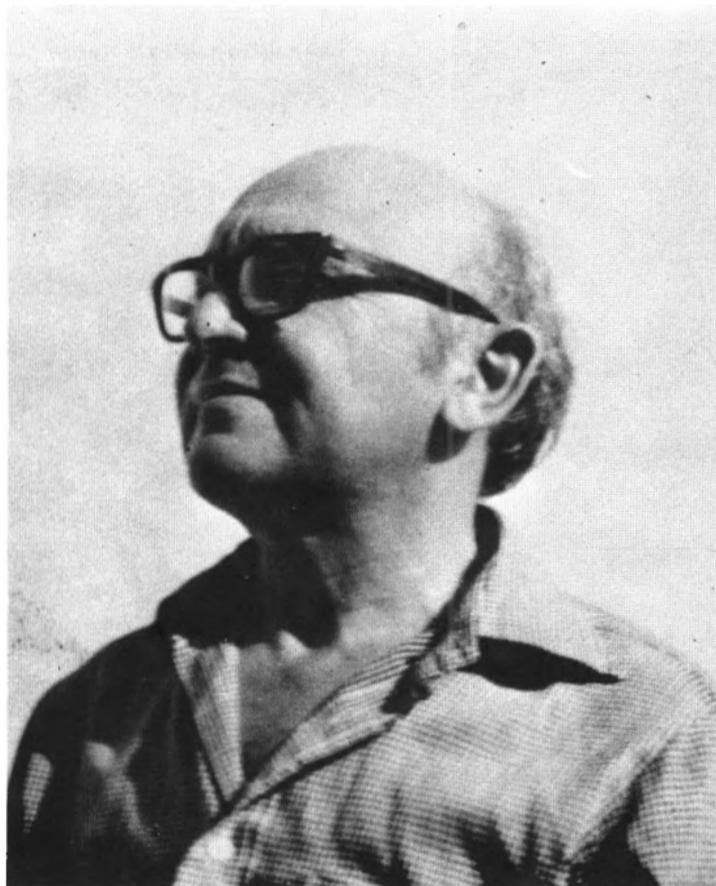


АХАРОН АППЕЛЬФЕЛЬД

ПОРА ЧУДЕС



Ахарон Аппельфельд
ПОРА ЧУДЕС



АХАРОН АППЕЛЬФЕЛЬД

АХАРОН АПШЕЛЬФЕЛЬД
ПОРА ЧУДЕС



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

' 1984

Printed in Israel

אהרון אפלפלד
תור הפלאות

Aharon Appelfeld
The Age of Wonders

עיריית חיפה
מערכת תפוצת הספרייה
מרכז החדשות לעולים
בית ארדשטיין - ספרייה
מס. מלאי.....

Перевел с иврита *О. Минц*
Редактор *Я. Цигельман*

Рисунок на обложке *Меира Аппельфельда*
Из коллекции *Вивиан* и *Давида Болер*

עיריית חיפה / מינהל החתי"ד
מס. מלאי 74937/1
הספרייה העירונית ע"ש א. אפלפלד
מס.

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות
לספרית-עליה
ת.ד. 7422, ירושלים
היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, август 2021 г., Хайфа

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
От издательства.	7
ПОРА ЧУДЕС	
1	11
2	27
3	39
4	47
5	51
6	62
7	66
8	74
9	83
10	97
11	106
12	120
13	128
ПОСЛЕ ВСЕГО; КОГДА ВСЕ КОНЧИЛОСЬ	
1	137
2	144
3	152
4	157
5	164
6	174
7	185
8	189
9	194
10	200

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ахарон Аппельфельд родился в 1932 году в г. Черновцы. Во время Второй мировой войны был узником концлагеря в Транснистрии. В Израиль прибыл в 1947 году. Учился в Еврейском университете в Иерусалиме. Печататься начал в 1959 году, опубликовал несколько сборников рассказов, а также романы "Ха-ор ве-ха-кутонет" ("Шкура и рубаха", 1971), "Ке-ишон ха-аин" ("Как зеница ока", 1972) и "Тор ха-плаот" ("Пора чудес", 1978) – исполненный трагического звучания монумент в память об уничтожении гитлеровцами трети еврейского народа. В импрессионистическом по манере повествовании, ведущемся от имени якобы безучастного рассказчика, который в коротких фразах фиксирует происходящее, разворачивается страшная картина Катастрофы.

В романе "Пора чудес" повествуется о трагической судьбе австрийского писателя еврея-ассимилятора, который до последнего момента отказывается верить, что участь, уготованная еврейскому народу в Европе, постигнет и его, посвятившего себя и все свое духовное богатство немецкой литературе и культуре.

А. Аппельфельду присвоен ряд премий по литературе: премия им. Бялика (1979), Израильская гос. премия (1983), премия Нью-Йоркского университета, (1977) и др.

*Памяти отца,
скончавшегося 26 кислева
5738 (6 декабря 1977 года) в Иерусалиме*

Много лет назад мы с мамой возвращались с очаровательного, несмотря на полную свою безвестность, курорта. Ехали ночным поездом, в новом вагоне; на одной из закругленных стен вагона красовался рекламный плакат: девушка с вишнями. Вагон был плацкартный; сиденья массивные, на подголовьях шитые белые салфетки. В открытой настежь передней двери стояла девица с деревянным подносом в руках, очень похожая на ту, с плаката. Стояла-стояла — и вдруг, словно по чьему-то приказу, начала подавать вечерний кофе с ватрушками.

Синие краски темноты в окнах вагона снова унесли меня к тихой заводи, возле которой мы с мамой провели лето. Забытый берег, усеянный брошенными предметами, да и люди там были — точно брошенные в безмолвие. Много рыбы, мелкой, упитанной; рыба глела со дна в немом отчаянии. Плавали рыбки медленно, недовольно, заражая и меня своим беспокойством.

Конец летней тишине. Теперь едем домой, и дальняя дорога тоже зачарована, полна обворожительных мелочей. Вот девушка в зеленом шелковом шарфе: она мне кажется баронессой, не знаю почему. Лицо — прозрачной белизны на фоне белой салфетки подголовья. Ее саквояжи внесли совсем недавно двое слуг, и некто оливковокожий, одетый как иностранец, элегантно и роскошно, запечатлел у нее на лбу поцелуй. С тех пор она, кажется, и не шевельнулась ни разу.

Зрачки застыли, точно прикованные в какой-то далекой точке. Занавеска слегка заслоняет ее, но мне достаточно и половины лица. Волна удовольствия захлестывает меня, окунает в блаженство, когда взглядываю на ее силуэт. Но, смотри, — счастье уже ущербно, оно было создано несовершенным; уже гложет его червячок тоски. Смутная догадка, что это прекрасное лицо померкнет за время долгой дороги, губит мое маленькое счастье. И я с новой силой напряженно гляжу на нее, чтобы не упустить в ее лице ни малейшей перемены.

Это чистое, неподвижное лицо снова возвращает меня к светлым дням, проведенным с мамой на покинутом берегу. Кроме нас там не было ни одной живой души, а если кто и забредал, — их заносило туда по собственной или чужой ошибке; и они пропадали, как дуновение ветра в камышах. И снова оставались мы у тихих вод, обмелевших к лету. Два рыбачьих баркаса принадлежали, видимо, другой поре, иной воде, вздувавшей реку весною. Теперь река обмельчала, истощала, берега высохли и сморщились. Тишина превратила нас в совершенных молчальников. Если поначалу звуки редких слов еще слетали с наших губ, то постепенно они угасли и уже не пробуждались. Лишь в воде мы были друг с другом.

А попали мы сюда случайно, как бы в силу каприза. Фешенебельные дома отдыха и пансионны маме надоели, а отец был целиком поглощен своими литературными успехами. Точно в опьянении, колесил он из Вены в Прагу и обратно. Нас эти успехи не радовали. Дома воцарились напряжение и горечь, точно мы были пылинками в механизме отцовских побед. А может, и сам папа не радовался. А поскольку он как раз укатил в это время в Прагу, мама решила, что мы уберемся с нею подальше от людей, в какое-нибудь нецивилизованное захолустье. Так нам и досталась, волею судеб, та самая хижина возле речушки, которая вряд ли когда-нибудь удостоивалась названия. Поначалу мать была счастлива, но затем замкнулась,

все более и более уходя в себя. Двигалась мало, и безмолвие, вроде того, что царит под стоящим на земле колоколом, обступило нас.

И только в последний день, когда вся эта сказка сорвала с себя покровы, рамы двух крестьянских кроватей стояли голые, чемоданы были уложены — мать вдруг горько, беззвучно расплакалась. Я, дурачок, бросился на колени утирать ей слезы. Я знал: в русло хлынула новая вода, а нас прогнали без того, чтобы кто-нибудь промолвил: "Убирайтесь!" И вся эта простая роскошь, хлеб ржаной да парное молоко, да яблоки в старой плетеной корзинке, только и всего, — вся эта простая роскошь возле, с позволения сказать, реки — исчезла как дым, будто не бывала. Мать плакала, я не знал, чем утешить, и утирал ей слезы. Теперь плывет поезд, качается на мягких рессорах. Но странное дело — и новое это, комфортное, пространство тоже как бы сцеплено с тем безымянным местом, откуда мы едем. Любое лицо, каждая тень лица будят во мне воспоминания о зеленых водах и той крестьянской лачуге. Юноша, которого вкатили на инвалидной коляске в переднее купе, — вполне может быть, что и его я знаю по тем местам. Лицо у него очень тонкое и зыбкое, точно парит над коренастым телом, видно, полностью парализованным. Он глянул на меня, и я ощутил, что он тоже в тревоге от того беззвучного увядания, которое царит здесь тайно, незаметно. Кто знает, куда он едет... Голова, парящая над грузным телом, впитывает украдкой каждый взгляд, движение каждой руки, бережно подносящей кусок ватрушки ко рту. Я знаю точно: он думает о нас.

Вязкой жидкостью сочится во мне чувство, что мы здесь осуждены на гибель. Возможно, это от фигуры главного проводника. Торжественно-суровый в своей униформе лягушачьего цвета, он обходит столики и с ледяной корректностью справляется о благополучии пассажиров.

Все в порядке, отвечает мама. Теперь я понимаю,

почему она плакала. Этого самого вопроса она страшилась, зная, что так или иначе он будет ей задан. Мать кладет руки на подлокотники и принимает небрежную позу. Главный проводник, растолковывает она мне, интересуется самочувствием пассажиров, спрашивает, нет ли особых пожеланий или непредвиденных осложнений. Она все еще думает, что подобные вещи мне надо объяснять.

Глаза юной баронессы оживились, забегали из угла в угол. Она обеспокоена, но прячет свою тревогу. Улыбается скрытной улыбкой. Парализованный мальчик не двигается. Невозмутим. Словно свыкся со своими недугами и со всем, что ныне предстоит ему вытерпеть. Спокойные глаза наливаются жалостью, обращенной за пределы его собственного существа.

— Почему вы покинули тот прелестный берег? — вдруг взглядом спрашивает мальчик.

— Не по своей воле, — пытаюсь я передать ответным взглядом. — Другие, дикие и буйные воды хлынули с гор и все перепутали и смешали.

— Жаль, место-то было чудное.

— Разумеется, но что поделаешь...

— Я бы не уезжал — и все.

И когда усталость уже почти победила мое разывравшееся воображение, поезд остановился. Сначала я подумал, что мне показалось. Экспресс ведь не останавливался на обычных станциях, тем более на сельских полустанках. От неожиданности пассажиры замерли на своих местах.

Очень скоро, однако, выяснилось, что поезд действительно остановился — да еще возле неосвещенной старой лесопилки.

— Какая-то ошибка, — подала голос одна из пассажиров. — Случается и с экспрессами. Спасибо, что не сошли с рельс.

Юная баронесса, округлив глаза, осмотрела вагон в холодном недоумении, словно загадка была заключена в нас. Раздается чей-то голос, чрезвычайно благонамеренный:

— Случаются иногда и неувязки.

— Многовато их случается в последнее время, на экспресс невозможно положиться.

Никто не двигается с места.

Первой встала юная баронесса и подняла оконную раму:

— Ночь, ничего не видно, — ни к кому в особенности не обращаясь, вымолвила она. Одна из женщин заговорила с мужем.

— Не можешь пойти спросить? — сказала она тоном неотвязного женского упрека.

— Что тут спрашивать? Ясно — неполадка.

— Ладно, если хочешь — я сама пойду.

Муж встал и двинулся к двери. По фигуре и внешности можно было принять его за дипломата. Дверь с трудом поддалась, издав тяжкий скрип.

— Итак, к твоему сведению, ничего не видать и не слышать. Стоим у заброшенной лесопилки. Каких сведений тебе надобно от меня еще?

— Почему стоим?

— Потому что локомотив остановился.

— Больше ни о чем не стану просить тебя! — выплеснула жена свою злость в пространство вагона.

Иные, истощив запас своего терпения, сошли вниз. Странно выглядели люди возле вагонов: букашки, приминающие солому. Страшновато было бы там стоять, если б какая-то женщина не разразилась прокурренным и наглым смехом. Она смеялась, и от этого хохота несло безумным наслаждением. Словно случилось то, чего она годами желала: экспресс не задерживается никогда, а на этот раз — опоздает! Нету ничего человечней опоздания. Муж и две дочки будут ее дожидаться теперь до потери сознания. Ничего, пускай подождут. Мысль о муже с дочерьми, томящимися на перроне, так ее забавляла, что она хохотала без устали. И чем дольше смеялась, тем сильнее это раздражало.

Внезапно четкий голос упал в молчаливое пространство: экспресс № 422 приносит пассажирам свои изви-

нения. Ввиду особых обстоятельств служба безопасности просит всех иностранцев, а также австрийских подданных, которые не являются христианами по рождению, проследовать в бюро, только что открытое, и зарегистрироваться. Предлагается взять с собой паспорт, удостоверение личности или какой-либо другой идентифицирующий личность документ.

Обращение ошеломило всех, но только не хохотунью. Смех ее клокотал, словно она хлебнула глоток приторного напитка. "Меня, меня они имеют в виду, — гоготала она. — Еврейку по рождению!" Тяжелый отвратительный смех раздражал теперь своей неуместностью. Возможно, все это происходит по ее милости. А может, есть еще несколько таких, как она. Экспресс ведь не задерживается никогда, — пошучивали коммерсанты, пассажиры опытные.

— А почему бы вам не помолчать? — кто-то сделал попытку приструнить ее.

— Еще чего? — огрызнулась она.

Теперь стало ясно: она пьяна. Женщина поднялась, оглядела вагон и направилась к выходу. Толстушка с золотым медальоном на груди. В уголках глаз расплылась тушь. И вдруг она повернула голову, словно собравшись объявить, что все это ее рук дело и все натворила она.

— Пошли, детки, регистрируемся! — к всеобщему изумлению произнесла она материнским тоном. — В этом респектабельном вагоне разве нет евреев, кроме меня? Чудо чудное!

— Вас никто не задерживает, — молвил рослый пассажир с внешностью дипломата.

— Зачем ты вступаешь с нею в разговор! — выговорила ему жена.

— Отвезите меня, — сказал юноша-паралитик своей провожатой, старой женщине с постно-набожной физиономией. Старуха встрепенулась:

— Куда везти?

— В бюро.

— Что тебе взбрело в голову, мой мальчик! Здесь

нету съезда для кресла. Сам видишь, вокруг открытое поле. Речь идет о здоровых. Тебя, мой мальчик, это совершенно не касается.

— Не хочу игнорировать официальные объявления, — проговорил юноша, буравя свою собеседницу выразительным взглядом.

— Разумеется, — поспешно сказала старуха. — Однако, согласись, здесь нет никакой возможности спустить вниз такое тяжелое кресло. Я слабая женщина, да и не молодая. Снести такое кресло на себе я не в состоянии.

— Я снесу, — сказала хохотунья. — Почему не исполнить его желания, раз парень хочет зарегистрироваться? Жизнь и так лишила его исполнения многих желаний.

— Премного вам благодарна за вмешательство, — сказала старуха со сдержанной злостью. Хохотунья оглядела вагон:

— Не соблаговолит ли кто приложить руку?

Со своего места встала юная баронесса.

— Я помогу.

— Очень странно, — громогласно удивилась хохотунья, — и вы принадлежите к нашей убогой расе? Ни за что бы не поверила.

Ответа на это замечание не последовало.

Провожатой теперь осталось одно: принять помощь и показать, как правильно взяться за кресло. Сделала она это без всякой охоты.

— Берегись их доброты! Они еще спустят тебя в преисподнюю, — бормотала она при этом.

Хохотунья крепко держала кресло. Очутившись внизу, она закричала пассажирам злорадным голосом:

— Выходите, детки, выходите и не стесняйтесь!

Три женщины налегли на кресло, толкая его через сухой кустарник к воротам лесопилни, которая теперь была освещена тусклым электрическим фонарем. В соседних купе началось движение, громоздко-

неуклюжее шевеление, вагонные коридоры наполнились голосами, сыпавшимися, как сухой смех.

Терпение мужчины с внешностью дипломата иссякло.

— Я не вор в ночи, чтобы прятаться, — встал он со своего места. — Я не буду от них скрываться, если им не совестно издавать подобные дискриминационные распоряжения.

— Не стану тебя задерживать, раз тебе так приспичило. Ты подводишь нас всех, учти! Ты играешь на руку этому ночному безумству, — подчеркнуто сухо сказала жена.

— Ты желаешь, чтобы я сделал вид, будто ничего не происходит?

— Этого я тебе не предлагала.

— Так что же ты хочешь?

— Хочу, чтобы ты заявил протест. Начальству известно, что экспресс не место для анархии.

— Я тебя понимаю. Тебе угодно, чтобы я закатил скандал.

— Делай как знаешь. Нет у меня желаний с тобою препираться.

С боковых мест вставала чета стариков. Он в очках, незрячий, по-видимому, и маленькая, тщедушная жена подала ему обе руки тем жестом нежной опеки, который говорит о верной любви и дружбе. Мама кинулась помогать им, так и мы тоже оказались в ряду движущихся к выходу.

В лесопильном сарае творилась неразбериха. Очевидно, инструкции как регистрировать были путанные. Нескольких практических людей канитель обрадовала. Некто из числа инспекторов убеждал их, что вся процедура — ради простой статистики, и нету тут ни каверз, ни подвоха. Запись шла в двух параллельных очередях. К регистрационному столу подъехал юноша-паралитик. Хохотунья матерински ласково гладила его по голове, и это бесило старуху-проводную.

Наступил наш черед. Мама предъявила документы с откровенной гримасой, упомянула все данные и,

когда надо было назвать мой возраст, смотрела при этом на меня, тем самым демонстрируя абсолютную точность сведений, которые она излагает.

Регистрация закончилась. Три женщины поволокли теперь инвалидное кресло вдоль вагонов. У юноши был довольный вид, и он помогал двумя руками вращать упрямыя колеса. Чета стариков села в вагон без нашей помощи. Освещенный состав, громыхавший в открытом поле, огласился веселыми голосами, как после шуточной проделки.

— Кто-то спятил! — раздался мужской голос. — Я подам жалобу!

— Разумеется, — откликнулась женщина, которая, по всем признакам, вовсе не собиралась открывать рот.

Наконец, двери захлопнулись. Пассажиры уселись на свои места. Старший проводник снова встал в дверях — знамением того, что ночь продолжается в точности так же, как началась. Только хохотунья с потечками туши в уголках глаз не переставала переглядываться с юным инвалидом, который теперь выпрямился на своем кресле и сцепил перед собою руки.

— Кто не зарегистрировался, может это сделать на ближайшей остановке, — задирала хохотунья пассажиров. — Тут несколько не записались. Не надо стыдиться, есть и похуже нас. Евреи, видите ли, торговцы. А сколько врачей, сколько журналистов? Я лично стыда не испытываю.

— Мы тут едем не для того, чтобы выслушивать ваши откровения, — сказала супруга мужчины с внешностью дипломата.

— Я забочусь о соблюдении административного порядка, — сказала хохотунья и подмигнула юноше.

Девушка-баронесса теперь сидела в своем углу съезжившись и снова уставилась в пустое пространство. Мысль, что и она из нашего племени, вызвала во мне разлив сладкой грусти. Хохотунья не оставляла в покое пассажиров, все время прикладывалась к маленькой, удлиненной фляге и, не переставая, перегля-

дывалась с юным калекой, который, сидя в своем кресле, с холодной педантичностью нарезал себе ватрушку кубиками.

Состав, сияя всеми огнями, мчался теперь в глубину ночи. В передних вагонах было весело и шумно, как если бы это был не заурядный ночной экспресс, а увеселительный поезд. В полутемном тамбуре нескромно любезничали несколько забравшихся туда парочек. Хохотунья поощряла их в этом занятии, строя уморительные гримасы. Юный калека смеялся, уже не сдерживаясь.

Агрессивная супруга мужчины с внешностью дипломата вскочила на ноги.

— Не могу понять, что тут происходит! Это вагон первого класса, или мы ошиблись местом?!

— Неужели наше общество вам неприятно? — невинно изумилась хохотунья.

— Неприятно — это если очень деликатно выразиться.

— Вот такие мы, что поделаешь.

— Кто садится в первый класс, тот обязан соблюдать известные приличия.

— А что мы натворили такого ужасного?

— Невозможно выдержать эту еврейскую крикливость!

Хохотунья встала и заговорила со всей силой накопленной энергии:

— Гляди, кто рассуждает про еврейскую крикливость! Я лично, к вашему сведению, замужем за иноверцем. Я имею двух дочерей, которые теперь меня ждут на вокзале, но, несмотря на это, отрекаться от моего происхождения абсолютно не желаю, о чем и мужа поставила в известность. Более того, я горжусь своим происхождением.

— Мы тут не для того, чтобы выслушивать признания. Вагон первого класса не исповедальня. Прошу старшего проводника навести порядок!

На пороге возник старший проводник и при виде ссорящихся женщин простер руку:

— Прошу соблюдать порядок.

— Ее попросите, — сказала хохотунья. — Имейте в виду, что эта элегантная дама — еврейка до мозга костей. Она пропустила совершенно недвусмысленное приглашение мимо ушей и не зарегистрировалась в бюро. Стыдно ей! Что ж тут постыдного? Мы что ли не такие же люди, как все?

От откровенности этой тирады в вагоне установилась тишина. Дама встала со своего места:

— Не ваше дело. Я отвечаю за все мои административные прегрешения. И все равно не вижу возможности находиться в одном обществе с вами.

— Не надо, мадам, скрытничать, человек, он, в конце концов, только человек.

— Не в одном обществе с вами!

— Я, во всяком случае, не стану ничего скрывать.

— Прекратите! — отрубил старший проводник. Его категорический голос рассек воздух, как топор, и в вагоне моментально воцарилась тишина.

Отныне ни звука не было слышно. Вагон подчинился пружинистому ритму. Пассажиры сидели на своих местах не раскрывая рта, хохотунья, как наказанная, уронила свою тяжелую голову на столик. Муть усталого дыма окутала лица. Мать взяла меня за руку:

— Нам ехать долго, поспал бы немного.

Сна не было у меня ни в одном глазу. Пробудилась тоска, дремавшая с тех пор, как мы расстались с забытым берегом. Напрасно добрые мамины руки старались оборонить меня. Я знал, прошлое не вернется. И место, где мы были, — оно тоже ушло из жизни.

Юная баронесса, сидевшая напротив в соседнем купе, освободила шею от платка, и в ее прекрасных, иссиня-черных глазах теперь поблескивали слезы. Мама выпрямилась на своем сиденье. Дыхание ночи, пронесшееся по вагону, сковало холодом ее лицо. Старший проводник не покидал более своего поста на пороге, словно был это не проводник, а часовой, поставленный охранять порядок. Официантки исчезли.

До меня донесся женский шепот:

— Что же это было?

— Да ничего. Бюрократический вздор.

— Меня это напугало до жути.

— Чепуха. Бояться нечего.

Одна за другой погасли лампы. В вагон проникла ночная прохлада и окутала спящих пассажиров. Вагон объяло сном, а хохотунья тем временем встала, тряхнула головой, сгоняя вялость, и, выудив из сумочки кулек с конфетами, подошла к юному калеке:

— Для тебя!

Юноша поблагодарил, опершись при этом на обе руки, словно пытаясь приподняться с места.

— Куда едешь, мой мальчик?

— Ложиться на очередную операцию.

— Бедняга! Если я правильно тебя понимаю...

— Уже перенес две.

— Значит, третья?

— Совершенно верно.

— Это ж надо иметь такое мужество... Такую храбрость! Как я рада, что я тебя встретила... Эти люди здесь совершенно вывели меня из себя. Терпеть не могу трусов. Спят теперь, будто ничего не случилось. А ты, мой мальчик; едешь в третий раз ложиться под нож! Надежда хоть есть? Что они тебе сказали?

— Сказали, что ничего не могут обещать.

— И все-таки ты относишься к этому так спокойно, с таким мужеством...

— За неимением другого выбора.

Поезд замедлил ход, и хохотунья, почему-то теперь казавшаяся еще более тучной, схватила себя за голову:

— Что я могу дать этому милому парню, нет ведь у меня ничегошеньки! Медальон — вот, возьми его. Он мой, чужое не дарю. — И, не спрашивая согласия юноши, тут же надела на него медальон. Тот, не прекращавший попыток, опершись на руки, приподнять себя, издал от конфуза странный, искаженный какой-то, звук, будто прыснул смехом; так можно было бы подумать, если б не залившая его краска стыда.

– Не хочу. Такой ценный подарок. За всю жизнь вас не отблагодарю, – вымолвил он, справившись с голосом.

– О чем ты говоришь, мой мальчик, – это просто моя любовь! Будь у меня больше, я бы тебе больше и подарила. Ты, парень, – герой!

Не дожидаясь ответа, хохотунья устремилась назад на свое место, забрала свой плоский чемоданчик, несоразмерно маленький по сравнению со своей владелицей, и побежала к двери, воскликнув на ходу:

– Моя остановка.

Юноша, который собирался было протестовать еще, осекся.

Состав пошел под уклон, мчась все быстрее и быстрее на юг. Юноша сидел в своем кресле очень прямо, словно оцепенев, с золотым медальоном на груди. Словно увенчанный титулом, которого вовсе не домогался. Тут подала голос проводжата, все это время помалкивавшая:

– Не трудился, а заработал. Вещица-то стоит многие тысячи.

– Я себе ее не просил.

– Но ты, надеюсь, оценишь такой щедрый презент.

– К числу неблагодарных не отношусь, – сказал юноша с раздражением.

– Мерси. Ведь ты не хотел ехать.

– Но не со страху. Кто две операции испробовал, тот уже не боится.

– Мерси, однако же ехать ты не хотел. А теперь вишь что привалило.

– Что вам нужно от меня?

– Ничего. Просто напомнила тебе.

Он склонил голову, и свет медальона произвел в его душе нечто такое, отчего у него тут же ходуном заходил подбородок, мягкий, как у ребенка.

Стук колес стал глуше, и, если б не взгляд дежурившего в дверях проводника, все было бы тут, как бывает ночью в обычном летнем поезде. Люди в сонной истоме, пресытившиеся солнцем и водою; единствен-

ное их желание – побыть с собою и с дремотой своей наедине.

Внезапно, безо всякого заметного повода, заговорила супруга мужчины с внешностью дипломата.

– Ты сделал ошибку, – сказала она мужу.

– Какую?

– Сам прекрасно знаешь.

– Не понимаю.

– Поживем – увидим.

– Свою фирму не подводил, налоги уплачиваю в срок. В чем состав моего преступления?

– От главного ты увилываешь.

– Мое сомнительное происхождение? Я им не горжусь, однако и не стыжусь его.

– Но якшаться с этой самой толстухой человеку не пристало.

– Не чувствую угрызений совести.

– Трудно тебе сознаться, я вижу.

– Каюсь, виноват, – молвил он пренебрежительно.

Старший проводник повел своим зорким взглядом в их сторону, и они замолчали.

За окнами чуть забрезжило, и я вспомнил другие летние каникулы, такие долгие, и как сияние утренних зорь проникало в мой сон и будило меня. В этом году что-то стряслось. Может быть, потому, что с нами не было папы. А может – из-за неизъяснимой прелести того заброшенного места, из-за ледящего предчувствия, что отныне – недолговечно все.

Рассвет прорезался и разбудил всех. Пассажиры складывали пледы, обмениваясь быстрыми взглядами, как после скверного сна, приносящего в итоге чувство обновленного благополучия. Мама тоже встала, сняла с полки саквояж и безотчетно, словно в ответ собственным мыслям, проговорила:

– Конец каникулам.

Я спросил, приедет ли папа на вокзал.

– Сомневаюсь, – сказала мама.

Мы еще успели несколько раз встретиться взглядами друг с другом. Девушка-баронесса не сводила

теперь глаз с юного калеки. Подбородок у нее слегка дрогнул. Все такая же красавица, но без прежней мягкости. Мужчина с внешностью дипломата и его жена тоже смотрели на юношу. И на мгновение между нами всеми возникла какая-то пленительная близость, словно свели знакомство. Мама достала коробку шоколада:

– Отнеси парню.

Юноша посмотрел на меня и сузил глаза:

– Уволь-ка, не нуждаюсь.

– Пожалуйста! – воскликнула мама со своего места.

– Хватит с меня преподношений.

– Но мальчик предлагает от чистого сердца, – мама кинулась мне на выручку.

– Не терплю, когда меня жалеют.

Мама взмолилась:

– Ты обижаешь мальчика, отвергая его добрые намерения!..

– Я существую не ради того, чтобы заражать людей добрыми намерениями.

Горячий стыд затопил меня.

Поезд замедлил ход, подъезжая к нашей станции. Мы пошли к выходу, но я был все еще в центре внимания пассажиров, желавших как-то смягчить обиду, нанесенную мне. Сочувственно глядела на меня и юная баронесса. На станции кроме нас никто не сошел. Окно станционного буфета было наглухо закрыто двумя ставнями. Рассеянный свет утра не мог скрыть запущенности, которая тут царила.

– Не надо сердиться на юношу, он очень болен, – вымолвила мама. – И ведь теперь он едет на третью операцию.

Мы зашагали в сторону Габсбургского бульвара. Перспектива была пуста, ни души. Город спал.

– Хохотушка эта... – вспомнила мать.

А я чувствовал, что меня преследует вагонная качка, и люди – тоже. Словно мы все еще были там, в вагоне. Среди ночного тумана, под пологом, соткан-

ным из взглядов. Но более всего — взгляд юноши. Он неотступно меня преследовал.

То лето, наше общее с мамой лето, отныне уже не оставляло меня. Временами казалось, что мы еще там, и нас облекает вода, или мы несемся в глубь ночи по гладким рельсам.

Мама сняла с себя белые летние одежды, и тайна сошла с ее лица. Она деятельна, неразговорчива и в высшей степени рациональна в своих движениях. Через несколько дней будут праздновать мой день рождения, и это близкое событие сообщает ей вид практического человека.

Отец заперся в своем кабинете. Успехи и летние разъезды между Веной и Прагой превратили отца в человека усталого и рассеянного.

Мама пытается развлечь его и потчует всякими сластями. И его лицо, в моем представлении всегда непременно худое, теперь раздобрело вокруг рта. Когда мама рассказала ему про тот странный ночной экспресс, про задержку и регистрацию, отец вскипел и ополчился было на бюрократию, но добавил, что с тех пор, как сюда нахлынули восточные евреи, все пошло вкривь и вкось, словно они привезли с собою злых духов.

Дни бегут. Мысль о том, что мне никогда больше не вернуться в ту сельскую хижину, точит меня, как печальный запах плесени. Не понимаю маму, ее деловитости, не слышу от нее ни единого ласкового слова, даже на сон грядущий, когда она поднимается

в мою комнату. Ее молчание кажется мне признаком неприязни и усугубляет мою тоску.

То место умерло вместе со всем, что его населяло, даже прятавшимися на дне рыбешками. Я чувствую, что секрет мой гибнет в дурмане всяких красочных и душистых отрав, и по ночам просыпаюсь, как от удушья.

Тем временем начались приготовления, многочисленные, лихорадочные приготовления, дом разворочен из конца в конец, точно настезь распахнутый зал. Маленькие домашние предметы, уже тогда будившие во мне смутную грусть, лишились своих теней и засверкали сплошным светом, пронзительно резким и предназначенным не для меня. Нагрянет, я знал, уйма гостей, большинство незнакомых, и переполнит это пространство. Говорили о какой-то праздничности. У меня это вызывало, однако, недоверие. Может быть, из-за Луизы, а может — из-за злых духов, шнырявших не переставая.

Их было много, этих злых духов. Целый рой — потому что они были бесплотные и незримые за пределами моих видений. Возникали они и наяву, вполне реально; напоследок — в образе служанок, пышнотелых крестьянских девок, нанятых помогать при ремонте и прочих приготовлениях.

Кажется, никто, в том числе и я, для кого все устраивалось, не хотел этого праздника. Все развивалось как бы само собою, силой подчинившего себе нас всех какого-то деспотического инстинкта. Мама — потому что хотела внести какую-то свежую струю в нашу жизнь, которая свелась в последние годы к тоскливому исполнению житейских обязанностей. Отец — потому что его писательство зашло в тупик. Я — в ожидании непредсказуемого. Из села привезли девок, кровь с молоком, и дом превратился в проходной двор, полный хохота и деревенских запахов.

Служанки и ночевали у нас, так что и по ночам доносился до меня из задних комнат озорной смех. Я был объят тихим, подозрительным слегка удовольствием,

словно в прозрачном сне. Отец перестал писать; в рабочем комбинезоне он преобразился в человека, которому, кроме примитивных дел, ничто другое в жизни неведомо. Служанки звали его "господин", и он сам вел себя как управляющий, перед которым положено выслуживаться.

К концу месяца уже все стены блистали пестрыми обоями, старый комод был сослан на задворки, и от выламывающегося вида новой мебели на душе у меня заклубились сумерки безвременного сиротства. Отец вознаградил служанок не скупясь, мама прибавила к расчету поношенные платья, и я был расцелован с крестьянской жадностью.

Так все стихло. Отец составил список гостей. Не все приглашенные пришли маме по душе. Спор был без резкостей; горечь только. Ночи словно опустели; одни злые духи, оставленные служанками. Как предвестники той неизъяснимой свободы, которая навредила на меня таинственный ужас.

Засим приготовления закончились.

Время было уже за полдень, и свет в комнате, неярко мерцавший по всей ее длине, сооткнулся передо мною каким-то образом в пальцы прозрачной, тонкой кисти. Рука словно всунулась с улицы и здесь материализовалась, как бы умоляя: "Выдерни изнутри один лишь сосудик, и ты излечишь меня!" И тут, на моих глазах, приковавшихся к мерцанию, внутри руки возник бугорок, словно крошечный кровяной сгусток, отороченный волосяным пушком и тонко прикрепленный к суставу указательного пальца. Кисть настолько просвечивала, что я мог различить блуждание кровяных телец, как они плывут и омывают болячку. Снова послышалось: "Выдерни один сосудик, и ты излечишь меня!" Теперь голос был совершенно внятный. Рука отодвинулась, и на полу разостлался сумрак. В соседней комнате, темной от гардин, уже стоял торт, испеченный в мою честь, и нотный пюпитр, и скрипка — источники другого моего страха. Теперь зажглась ожи-

данием вся анфилада комнат, до самой дивно разукрашенной девичьей, где жила наша прислуга Луиза.

Я знал: сейчас она стоит высокая голая, и подрисовывает себе глаза. У себя в комнате она вела себя более чем вольно; стены заклеила фотографиями, настриженными из иллюстрированных журналов: модные красотки и знаменитые актеры. В каникулы, когда порою мы с нею оставались дома одни, Луиза купала меня и упрятывала в огромные подушки крестьянской деревянной кровати.

Еще учитель музыки не пришел, а в пальцах левой руки у меня уже зашевелился страх. Если сегодня провалюсь, это поставят в вину ему; но пока еще царила моя любимая тишина, которую я впитывал в себя всегда вместе с милыми моему сердцу запахами дома, вызывавшими ко мне из прошлого, точно колдовством, пережитые мною маленькие наслаждения: опять каникулы — каникулы с Луизой; и ночи, когда я засыпал в ее кровати подле нее, ошалелый от запаха пудры и духов.

Кончились чудные денечки. Уже и мой день рождения рассчитан на чужую публику. И девичья Луизы тоже перестала быть волшебным моим приютом.

Отец у себя в кабинете. Скоро выйдет из своего затвора и наведет страх. Уже гремит у меня в ушах взрыв его гнева: "Куда подевался каталог?! Все валится у меня из рук..." За год поседел, словно его укладывает на лопатки некий враг, которого я, по крайней мере, не видал. Шутит еще только с молодыми девушками.

— Все готово? — спросила мама.

— Готово, — подтвердила Луиза.

— Прилягу немного, — сказала мама и уронила голову на подушку.

Я отправился к себе — проверить, не вернулась ли рука стелать про тайную свою боль. Тени испарились, ковер упруг, устлан толстым ворсом. Постучался к Луизе: "Можно?" Как и думал, стоит подле зеркала в просвечивающей ночной рубашке. Лицо еще не про-

сохло после мытья. Шея длинная, выгнутая, как у взлетающего с воды лебедя.

— Шарлотта придет сегодня, — сказала Луиза.

— Да, слышал.

У нее вырвался смешок, который выдал мне все, что связывалось с именем Шарлотты: загадка и подозрение.

— Не знаю ее, — поспешил я заверить Луизу.

— И я не знаю, — сказала она почти неслышно.

Давно же я не был у нее в комнате. Эта крестьянская кровать, эти подушки, этажерка, вазочки. Все на своих местах, во всем та женская аккуратность, которую я так любил.

Внезапно меня охватило странное, никогда прежде не испытанное уныние. Я знал: отныне запретно для меня по некоторым причинам все что есть Луиза — кровать, этажерка, эти подушки.

— Давно я у тебя не был.

— Я тебе всегда рада.

Обладая, однако, той детской пронизательностью, которая не обманывается никогда, я знал, что одна из глубоко скрытых во мне клеток уже распечаталась. И затворил за собою дверь, проговорив: "Увидимся".

Я устал. Упражнения на скрипке истощили меня. Игру мне отравляла паника моего учителя Данцига, которую отец называл типичным еврейским страхом. Учитель Данциг страдал дикой педантичностью, объяснимой разве только желанием наказать самого себя, что он и делал. Мне нравилось смотреть, как он проигрывает мне показательные пассажи и при этом бранит себя на все корки за собственные неточности. Даже редкие его улыбки были не чем иным, как гримасами тайного страдания.

Поблекли краски дня, вовнутрь потек сумрак. Кресла заволокло пушистой пепельной дымкой. Я чувствовал: что-то заваривается в этом безмолвии. И в самом деле, мама встала со словами: "Уже пора!" Голос у нее, на мой слух, был ужасный. Она встала и

пошла к выключателям зажигать люстры, двигаясь какой-то театральной, несвойственной ей походкой.

Первым явился мой дядя Сало, он и новая его любовница. Тишина лопнула моментально, и все вокруг ослепило чуждым блеском. Содержимым двух коробок, которые он мне привез из Вены, оказалась электрическая железная дорога. Механическое чудо было немедленно выпростано и выставлено на всеобщее обозрение; оно восхитительно заколесило по узким рельсам, издавая короткие гудки. Вполне в духе моего дяди, с его нарочитыми, несдержанными эскападами, рассчитанными прежде всего на то, чтобы поразить публику. Дяде Сало не ставились в упрек его вольности. Напротив, у нас одобрительно говаривали: Сало живет, презирая общественные условности. Хотя не все, конечно, сходило гладко. Бывали и скандалы. Жена у него, считалось, не блещет умом, и потому, возможно, ему и прощали его выходки.

Подали чай. Из девичьей Луизы дохнуло парфюмерией — знак, что стадия одевания приближается к концу. Дверь, в самом деле, отворилась. На Луизе цветастое платье в сборку, лицо — сплошное сияние и румянец. "Глядите, что за находка!" — воскликнул дядя Сало, равнодушный к любой юбке. Его новая любовница пребывала в сильнейшем стеснении, губы у нее все время силились изобразить оживленность. Ей был непонятен наш семейный жаргон. Речь шла, разумеется, о Шарлотте, о ее чарах и победах — и про трудные времена, которые наступили для нее теперь. Смысл многочисленных намеков, говорившихся в ее адрес шепотом, оставался для меня загадкой. Одно я знал: за всей этой историей кроется нечто темное.

В положенный час пришел дядя Карл со своей женой. И моментально все точно оцепенели. Адвокат самых строгих правил и очень чувствительный к аномалиям, которыми Бог не обидел нашу семью. Иное дело его жена — и годами помоложе, и не без известной свободы в обращении. Тут тоже шло гладко далеко не все; но это была борьба, продолжавшаяся много лет и тем не менее не приведшая к взрыву. И к своему брату-повесе дядя Карл относился то сердито, то примирительно; но, так как к брату он был

очень сильно привязан, дело доходило иногда и до крупных ссор. На сей раз он, однако, решил игнорировать присутствие брата и выбрал себе место в углу, подальше от него. Веселость вечера пока что не пострадала. Шли гости, и отец придал себе выражение человека, который знает толк в великосветских манерах.

Зато какой жалкий вид имел мой учитель Данциг, втиснувшийся с толпой гостей! Нервный тик в плече не отпустил его и тогда, когда он сел пить кофе и откусил кусочек торта. Никто не справился о его здоровье, и мне было больно смотреть, как он там сидит, в конце стола.

Настал мой черед, и я притворился совершенно уверенным в себе. Данциг стоял подле меня, весь съежившись. "Плавный смычок, плавный!" — шептал он, как потерянный, в мою сторону.

Первая часть прошла благополучно. Во второй мои пальцы меня подвели самым позорным образом. Я фальшивил. Данциг бледнел и багровел, и в конце концов спрятал лицо в руках. Никто не судил меня за мои огрехи, бездарность моя, обнаруженная на глазах у всех, вызвала снисходительное сочувствие; иное дело мой учитель Данциг, воспринимавший любой дефект моей игры, как свой собственный. Веселье было в разгаре, и исчезновения учителя музыки никто не заметил. Я стал главным героем вечера. Было выражено мнение, что своей талантливостью я отчасти обязан отцу. Уже тогда я не хуже своего учителя понимал все тяжкие недостатки моей игры, но сделал вид, будто все обстоит самым прекрасным образом. Новая любовница дяди Сало подошла пожать мне руку; в музыке она понимает мало, и очаровала ее, по-видимому, моя стойка.

Ждали Шарлотту. Сомневались, придет ли она. Мама собственноручно разрешила клубничный торт, Луиза, точно порхая, подавала. Было уже девять, и дядя Сало принялся доказывать свою независимость неумеренным прикладыванием к рюмке. На помосте собрались музыканты, явившиеся с опозданием из-за проливного дождя. Сало повел свою любовницу с юношеской легкостью. Дядя Карл, обведя зал суровым взором, взял за руку жену: "Пойдем отсюда". Она устремила на нас жалобный взгляд, как чело-

век, которого внезапно оторвали от удовольствий и ведут на холод, в потемки. Спасения, однако, не было.

Оркестр дурманил хмелем другого сорта. И странным казалось, что отец сидит в кресле, болтает с адвокатом Ландманом про земельные участки, сданные в аренду в его маленьком родном городке. В глазах отца пылал какой-то лунатический экстаз. Словно речь шла не о завалющем наследстве, а о сокровенной тайне его жизни. Адвокат закармливал отца фактами и цифрами; нашел же место и время!

И вдруг на всех словно снизошло молчание. Озорная рука дяди Сало точно застыла в воздухе. С лица его любовницы слетела глупенькая улыбка, и глаза у нее наполнились каким-то страдальческим замешательством. "Что же будет с участками?" — спросил отец, словно понял вдруг, что дело заранее проиграно. Адвокат Ландман оставил без ответа этот вопрос.

— Неужели торт неудачный? — в отчаянии спросила мама.

Оркестр заиграл сентиментальные песенки. Хотя отец терпеть не мог этой патоки, ни слова не сказал, может быть из-за мамы, растерянной и пытавшейся словить каждую крупницу внимания. "Что случилось?!" — вопрошало ее лицо снова и снова. Ничего вроде бы и не произошло. Лишь легкое, неосязаемое оцепенение, погрузившее гостей в скачущую пустоту музыки. Луиза доставила очередной поднос с кофе, лицо ее дышало жизнью и здоровьем.

Дядя Сало протянул холеную белую руку к бутылке коньяка и добавил себе еще. Доктор Герц Брауэр в широком кресле сидел, как изваяние. Со дня смерти его жены облачная завеса отделила его от людей, и, когда он так утопает в кресле, завеса густеет и заволакивает его лицо целиком. Стоит ему встать, и завеса поднимается вместе с ним. "Оно еще выкажет себя и другими симптомами", — замечает он иногда по какому-нибудь поводу: это у него осталось от тех добрых старых времен, когда у доктора Брауэра была процветающая частная практика. Мама поставила перед ним кусок его любимого творожного торта, но доктор Брауэр даже не пошевелился. "Попробуйте же, доктор", — взмолилась мама. Доктор ерзнул с места:

”Сейчас же попробую”, — сказал он и ткнул вилкой в пирожное.

О Шарлотте говорили, что она уже не придет. В такое позднее время она не выходит из дому. Дядя Сало наливал себе рюмку за рюмкой, и настроение у него было игривое. Он курсировал между гостиной и столовой, таская подносы на пару с Луизой. Новой его любовнице это не понравилось. ”Ты выпил лишнее, отчего бы тебе не присесть”, — предложила она. Совместное с Луизой занятие ужасно его забавляло, и нельзя было оторвать дядю Сало от подносов.

От этой забавы тоска, однако, не уменьшилась. Отец сошел с кресла, подступился к адвокату Ландману и принялся пространно рассказывать про тот самый арендный участок из наследства родителей, говоря с пафосом, которого я никогда за ним не замечал. Никто его не слушал, и мне казалось, что он говорит со злостью о самом себе. Зато дядя Сало был в ударе. Он захмелел окончательно и распространялся насчет того, какая знаменитая наша фамилия. Одного за другим называл он музыкантов, художников, писателей, выкрестов и международных спекулянтов. Все эти имена и то, как они сыпались, словно из рога изобилия, слегка рассеяли тоску, но настоящего облегчения не доставили.

Кто-то сказал, что антисемитизм снова проснулся и свирепеет, но дядя Сало обнял Луизу и прижал ее к себе:

— Скажите, вы разве не любите евреев? Разве есть в мире люди лучше евреев? Разве евреи не самые превосходные любовники? Скажите, Луиза, ну, скажите же!

— Нет, лучше нету, — проговорила Луиза, залившись краской.

— Вот видите. Или вам требуется более убедительное свидетельство?

— Но Шарлотта — неужели вы не слышали, что ее уволили из Национального театра? — воскликнул один из промышленников. — Неужели до вас не дошел этот слух?

— Почему уволили? За что?

— За то, что еврейка.

— Понять этого не могу. В голове не укладывается, — сказал дядя Сало и взялся за поднос.

И пока все столбенели, как замороженные, отворилась дверь и на пороге выросла Шарлотта, великая, прославленная Шарлотта. Ее появление в этот час было таким сюрпризом, что онемели все, даже оркестр. Криком закричал лишь дядя мой Сало:

— Шарлотта!..

Теперь я увидел: ее лицо излучает странное сияние. Она с легкостью подчиняет себе людей. Тогда я еще не знал, как сложна ее жизнь в нашем тесном углу и до какой тяжелой степени сама она спутана, связана с нами.

Шарлотта словно извлекла вечер со дна апатии. Про кофе забыли. Лился коньяк, звучали словечки, каких дома я еще не слыхивал. Был поздний час, никто об этом не вспоминал, и на губах Луизы, заметил я, тоже проросла скупая улыбка.

— О чем нам поведает Шарлотта? — спросил мой дядя Сало, может, просто потому, что ему нравилось слышать ее голос. Шарлотта, уже явившаяся навеселе, с прелестной заносчивостью объявила: "Я обмываю свою новорожденную свободу". Сдвинули кресла и подняли рюмки в честь новорожденной Шарлоттиной свободы. Я чувствовал: моя жизнь, ограниченная нашим пяточком, вышла за его пределы и подступила к загадочному мраку. Шарлотта отмочила ругательное слово, какого я в жизни дома не слыхал. Никто, к моему изумлению, не смутился. Ее искрящийся взгляд уже не прятал гнева. Пили еще и еще; новая любовница дяди Сало, поборов смущение, яростно хохотала. Не унимаясь, Шарлотта без всякого стыда крыла площадной бранью графов, режиссеров и актрис. Тут встал адвокат Ландман и вымолвил, казалось, довольно спокойно:

— Не могу этого постичь.

— Вы не считаете себя полноправным членом иудейского ордена? — резанула Шарлотта.

— Нет, не считаю.

— В таком случае, что вы делаете в этом центральном комитете? Разве вас выбрали не с вашего же собственного согласия?

– Нет.

– Раз так, – обратилась она к Сало, – адвокат Ландман ставит под сомнение законность своего избрания. Что говорит устав?

– Это надо посмотреть. Секретарша, – сказал дядя Сало своей новой любовнице, – подайте-ка мне устав.

– Увольте, – рассержено сказал Ландман, – я в этом помешательстве не участвую.

– Вы еврей. Ничего не поможет. Родители красиво обрезают вас, поместили великодушной печатью, так неужели вы чураетесь этого прославленного плотского клейма?

– Какое хамство!

– Почему хамство? Это разве не скромный факт действительности?

– Я отказываюсь обсуждать эту тему.

– Что, и здесь обсуждать ее отказываетесь?

– Я – человек!..

– Точно. Но вы должны, однако, признать, что вас поместили шикарной метой.

– Это хамство!

– Итак, Сало, вычеркните его из списков ордена. Орден объявляет его потерянным, потерянным навеки.

Коммерсант Браун, используя момент, уволок под шумок Луизу в девичью комнату. Мимо внимания гостей это, по-видимому, не прошло, но в данную минуту никому дела не было до маленького распутства. Тем более, что, как всем было известно, коммерсант своего не упустит.

Сумбур достиг апогея. Ландман зашагал к двери, рыча на ходу:

– Не хочу потакать безумству!

– Сало, вычеркните его из списков! – вдогонку Ландману кричала Шарлотта.

– Устав требует голосования...

– Позор такой, что нечего голосовать!..

Лицо у Шарлотты стало пунцовым. Она уже не владела своей речью. Маленькое мое страдание напряглось во мне, и, по мере того, как Шарлотта повышала голос, мне все больше казалось, что это мой собственный голос. Слова, смысла которых я не понимал, взвивались и полыхали, как факелы.

И, в то время как я набирался отваги, чтобы ворваться в комнату Луизы, Шарлотта запустила бутылкой в дверь.

Участников ссоры разняли наконец. Ландмана выпроводили в коридор, Шарлотту увели в библиотеку. Коммерсант Браун улизнул с черного хода.

С час спустя Луиза вышла из своей комнаты убирать посуду — лицо красное, как мак, на губах взбудораженная улыбка.

Шарлотта ночевать у нас не захотела, и отец проводил ее, пошатываящуюся, к таксомотору. Мне она сказала: "Золотце", — словно в сбивчивых мыслях я представлялся ей неодушевленным предметом. Лил дождь, автомобили жужжали на мокром асфальте, как осы. В комнатах густела, как студень, тишина. Внезапно я увидел перед собой пьяное маленькое личико Шарлотты, ощутил ее мятущийся взор, поблуждавший мгновение по моему лбу. И ладони отца ощутил, словно ко мне он прикасался, а не к Шарлотте. Новая любовница дяди Сало, гогоча во весь голос, спотыкалась теперь на лестнице, как стреноженная.

— Подай мне твою руку или твою ногу, — сказал ей дядя Сало. Любовницу колотил припадок смеха.

Сцены этого вечера потекли из меня, словно перед тем, как кануть на дно. Банальные слова струились вместе с объедками песенок, которые исполнял оркестр. Я знал: эта ночь посеяла во мне мрачные семена, с проросшими уже розовеющими корешками.

Комнаты имели растерянный и помятый вид. Мама сидела в кресле с закрытыми глазами. Из люстр лился резкий свет и бесстыдно обшаривал все уголки и закоулки.

Назавтра комнаты убрали, но злые духи не исчезли. И, хотя никто об этом не заговаривал, мне казалось, что все теперь происходит в такт колким речам Шарлотты. Луиза натянула на себя блузку-трико, и две большие ее груди преисполнились важности.

Конец лета мы провели в сельском пансионе под Баденом. Деревня была старинная; множество колодцев, лужаек и церковка с маленьким молельным залом. Дневной свет здесь оставался допоздна, ровно истончаясь и угасая, и вечерние краски были зеленые и насыщенные из-за влажных сельских запахов. Никто не говорил: "Время позднее"; ночь приходила не спеша, как это бывает у моря, и дни умирали, только когда я смыкал глаза.

Тогда я впервые увидел свою младшую тетку, Терезу, высокого роста и очень похожую на маму. Ей было семнадцать, и уже тогда какой-то странный свет реял вокруг ее лба. Она готовилась к экзаменам на аттестат зрелости, и мне это испытание представлялось почему-то в виде запоздалой детской болезни, которую приходится переносить в семнадцатилетнем возрасте. С наступлением темноты она, надев жакет, выходила из своей комнаты, как арестант, которому отмерены его часы. А когда возвращалась, сидела с мамой и отцом в гостиной — но это уже принадлежало не мне, а моему сну. Краешек ее лица туманно открывался и тотчас растворялся во мне трепетно-сладкой тенью.

А было и несколько теней пугающих, вроде доктора Мирцеля, который, являясь с приходом темноты, ущипывал меня в щеку и говорил:

— Вот перед вами маленький еврей.

— Почему — еврей? — встревоженно спрашивала мама.

— Потому что у юноши хилый вид. Юношей надобно закалять, пока они юноши.

Из внутренних покоев выходил отец и громко восклицал:

— Доктор Мирцель, где вы?

— Повсюду я окружен евреями. Спасения от них нету, — шутил доктор Мирцель.

Я знал: это всего лишь вечерняя веселость, но Мирцель откладывал во мне некую тягость, проникавшую в мои сны. Светлое утро стирало все, тем более, что начиналось оно прогулкой вдоль реки и заканчивалось на мельнице, где в подвале торговали сидром в разноцветных кувшинах.

А волшебство тех последних летних дней напустила на нас мачеха отца. В то время ей было уже девяносто три года — слепая, забытая в санатории вот уже тридцать лет. Никто из нас о ней не вспоминал, и навряд ли мы хотели повидать ее. Но дело обернулось независимо от наших желаний. Из санатория пришло письмо, написанное рукой сестры-хозяйки, с приветами нам всем, неожиданного для нас содержания: "Временами думаю о вас и вижу вас иногда во сне". Отец поспешил показать маме письмо. Они обменялись взглядами. "Странно, не правда ли?" — промолвил отец и тут же решил, что мы заберем ее с собою в Баден.

С этого момента события приняли определенный настрой. Отправился отец, к нему присоединился дядя Сало, мы весело махали им из окна, однако смутная неловкость закралась мне в душу.

Как обычно, сборы слегка затянулись, и мы с мамой вышли из дома с опозданием. И все же на станцию попали вовремя. Я жалел, что Луиза не едет с нами. Она в то время навевала на меня какую-то тайную сладость, и это огорчение омрачило мое маленькое счастье.

В Баден мы приехали ночью. Перрон был залит огнями. У киоска сгрудились мужчины и женщины, их сцепленные руки были исполнены вождения. Пакгаузы были уже на замке. Возле пакгаузов стояли стреноженные лошади.

Отец с дядей Сало дожидались нас у выхода, стоя по бокам переносной кровати; на кровати лежала Амалия, мачеха отца. Мы поговорили с нею. "Очень спокойная", — заметил дядя Сало, словно речь шла не о близком человеке, а о

строптивом существе, которое больше не баламутит. Экипаж потребовался, конечно, двойной вместительности, с упряжкой из четырех лошадей. Сначала она не узнала нас, точнее, не опознала по голосам, и ехать с нами не хотела, но мы ее уломали уговорами, пообещали приятное общество. Лицо отца было странным. Как будто не он участвовал в этой аванюре, а все совершалось силой тайного веления. Безволие какое-то и невнятное удивление, которых раньше я в нем не замечал.

У бабки Амалии были дочери от первого брака, они поначалу заботились о ней, но потом повыходили замуж за иноверцев и перестали к ней приходить. В последние годы ее не навещал никто. Об этом рассказала сестра-хозяйка, монахиня, которая к ней сильно привязалась.

Первые дни отдыха были, как обычно, приятны. Из дому вызвали Луизу, и уход за Амалией был передан ей. Между прогулками мы заглядывали проверить все ли в порядке. Из Бадена приехал врач и приговорил: старуха заслуживает уважения. Так к нам вернулись длинные дни, насыщенные светом. Раз в день отец с дядей Сало вытаскивали переносную кровать на лужайку. И тогда я рассмотрел это ложе с близкого расстояния. Нечто вроде высоких носилок на четырех копытах, никчемно помпезное, наводившее на мысль о предмете древнего культа. На самом же деле, это был старый сундук, к углам которого так приладили гнутые ножки от стола, что нельзя было не заметить грубую работу.

Несколько дней она пролежала на этом своем ложе, не издавая ни звука. Бледное лицо не выражало ни желаний, ни боли. Дядя Сало обрадовался: старуха заслуживает уважения. И уехал назавтра в Вену. Отец вернулся к корректуре.

Уже тогда проскальзывали как бы ненароком тревожные сигналы; приглушенные однако: их силы было недостаточно, чтобы нарушить заранее установленный порядок. Тетя Тереза прилежно занималась. Мне это казалось чем-то вроде горестного самоистязания. Раз в неделю она уезжала на экзамен. А когда возвращалась, лоб у нее был темно-коричневого цвета, глаза запавшие, волосы сухие и всклокоченные, и снова она запиралась в своей комнате. В преж-

ние времена, говаривала мама, требовательности было больше, но развлечения от этого не страдали: прогулки, катанье по реке, легкое угощение в харчевнях, а вечером — ужин. Театр собирался инсценировать у себя один из папиных рассказов, благодаря этому у нас появились новые приятели; но веселые эти вечера не всегда заканчивались весело. Отец был страстный поклонник Франца Кафки: немногие опубликованные произведения покорили его. Он знал их наизусть. И об этом препирались порою до поздней ночи. Тогда впервые в ушах у меня забарабанило новое слово: декаданс. Но, по правде говоря, размолвки эти принадлежали не моей яви, а моему сну.

Очнулась от своей слепоты Амалия:

— Где мы?

— Неподалеку от Бадена; старинное село, душистый воздух, много колодцев.

— А евреи здесь есть?

— Нету, кажется. Кроме нас.

— Странно, — сказала Амалия, — я думала, здесь есть евреи.

— Ты забыл доктора Мирцеля, — сказала мама.

— Верно, доктор Мирцель истый еврей.

Амалия не ела вареное и питалась зеленью с тех пор, как потеряла зрение. Дочери пробовали переубедить ее, но ничего не помогло. Готовые блюда вызывали у нее подозрение. Распрошавшись с прежними привычками, она вступила в незрячее существование с новыми обычаями. За долгое время своей слепоты она не просила ничего определенного из пищи, и здесь тоже ничего не требовала.

Деревенская тишина погрузила нас в свою летнюю ласковость. Раз в неделю мы спускались в Баден. Там все прилавки были облеплены курортниками. Отец, не терпевший этого места, называл его "осиным гнездом еврейского мещанства" — это больше не евреи, все, что в них осталось еврейского, — это желание вместе есть и шуметь.

Вернувшись из Бадена, отец запирался в своей комнате над корректурой. В те дни книги его выходили одна за другой. Были, конечно, враги, не упускавшие случая пустить

в него стрелы своей злобы, но то были ничтожные враги — критики хвалили его книги. В эту пору отец очень близко сошелся с Стефаном Цвейгом. Иногда они проводили в Вене целые дни вместе.

Дядя Сало весело интересовался:

— Как поживает наша Амалия?

На это Луиза отвечала:

— Все нормально.

Однажды Амалия попросила усадить ее. Ее ложе было снабжено механизмом для подъема изголовья. Мы долго бились над рукояткой, заржавевшей от бездействия, пока не удалось справиться и поднять Амалию из ящика в сидячее положение.

Лишь теперь видна стала ее ничего не выражающая физиономия. Лицо у нее было маленькое, усохшее с годами. Она захотела узнать, как каждого из нас зовут.

Отец рассказывал коротко, не вдаваясь в подробности.

— А не молятся ли здесь? — спросила она.

— Нет, — удивился отец.

— Я слышала голоса молящихся.

— Здесь село, недалеко от Бадена.

— Опять меня обманул мой слух, — рассердилась она на себя и смолкла.

Мама ушла готовить ужин, Луиза опустила изголовье, и Амалия безмолвно погрузилась в ящик.

К ужину явились доктор Мирцель, два актера и литераторша, отличавшаяся веселостью в обращении; через час после их прихода я уснул на кушетке в коридоре. Странно спалось мне в ту ночь. Словно все мои пропали и я целиком ушел в себя, как в безмолвие высоких растений.

Назавтра начались дожди, и мы были в поле в легкой летней одежде. Отец простер руки, точно призывая дождь унести его с собой. Мама пригладила мокрые волосы, и лицо у нее помолодело. Дождь усиливался, и мы побежали к ферме. "Потоп!" — во всю мочь кричал отец. На ферме разводили на экспорт грибы. Хозяин встретил нас хмуро, проговорил, что дожди нынче не в пору. Мы вернулись промокшими.

Тереза уже два дня не показывается. На нее наводит жуть

экзамен по латыни. Мама проходит с нею изречения, зазубренные наизусть. В гостиную вошла Луиза и доложила: Амалия поела с охотой. Она помолилась и задремала. На лице у Луизы была какая-то отчужденность, словно ухаживала она не за человеком, а за живой статуей.

И вот, когда укреплялся заведенный порядок вещей: постригли лужайки, поспела поздняя вишня, Тереза отлично выдержала экзамен, а мы все находили укрытие в безмятежной тени, — Амалия начала бубнить и бормотать. Луиза решила поначалу, что еда ей не по вкусу, но дело было не в еде, а в беспокоивших ее шумах. Птицы, говорила она, мутят ей голову по ночам. Отец шел к ней объяснять: это ежегодные птицы, мирные птицы, сельские птицы, у которых нету никаких злокозненных намерений, видимо перелетающие об эту пору в места, где воды больше. Амалия не соглашалась. Это не местные птицы. Шум от них не похож на шум сельских птиц. Амалия говорила не сомневаясь, точно видела их въявь, но нам это казалось галлюцинациями слепой. Каково же было наше удивление, когда на следующий день в небе над селом появилась большая стая — и никто из нас не знал, что это за птицы, даже наша хозяйка, урожденная крестьянка, не знала и, когда отец рассказал об этом Амалии, на момент приоткрылись у нее, словно в улыбке, щелки глаз и снова сомкнулись.

Отныне пошли нескончаемые претензии. То всякие шумы, то зелень не зелень, но самая большая обида была на дочерей, которые вышли за иноверцев и выкрестились. Бог их не помилует. Как может Он простить им?! И теперь из-за них она не может умереть.

— Твоей вины тут нету, — подал отец свой голос.

— Конечно, я не виновата.

— Почему же ты себя мучаешь?

— Потому что умереть мне невозможно. Как я уйду из мира сего, если дочери мои от веры отступились?!

В голосе ее была сила; возле нее мы чувствовали себя крошечными, точно возле темного зева, который изрыгает бесспорностью отлитые слова.

— И что ты хочешь, чтобы мы предприняли?

— А что вы можете сделать?

Невозможно было из-за дождей отвезти ее назад в санаторий, и нам целую неделю спасения не было от ее горьких жалоб. Голос ее крепнул день ото дня, долгая память словно воскресла. Но сильнее всего были ее верования. Верования эти были суровые и мстительные. Бог не даст пощады вероотступникам. Им нигде не видать покоя, ни здесь, ни в запредельных мирах. Все выкресты, наши и ее, были собраны у нее в уме, и она не переставала называть их имена.

И так как слова не помогали больше, и она жаловалась все крикливей и крикливей, отец решил, что делать нечего, надо вернуть ее в санаторий. Назавтра переносная кровать уже была выставлена во двор. Экипаж прибыл в срок, и, не спрашивая у нее, желает ли она этого, мы отправились в путь.

Всю дорогу она разговаривала сама с собой. Теперь выяснилось, что жаль ей не себя, а дочерей, которым на небесах уготован Страшный суд. Мы ехали поездом, и отец все пытался сгладить этот позор.

В санатории процедура была короткой. Сестра-монашка обрадовалась ей, и мы вышли оттуда смущенные и молчаливые, как после какого-то нехорошего дела.

Остаток свободных дней мы провели в комнатах. Тереза не переставала зубрить, мама ей помогала. После каждого экзамена на губе ее появлялась алая вмятина, но выдержала она все, и в срок. Прелесть последних легких дней была совершенной и безоблачной. Если б не голос Амалии, преследовавший нас теперь, отдых подошел бы к концу мирно и спокойно.

— Не знаю, что сотворила со мною Амалия, — повторяла Луиза. — Произвела во мне какую-то перемену, или еще что-то, чего понять не могу.

— Пустое! Ничего не произошло, — утешала ее мама.

— Спать больше не могу, — жаловалась Луиза.

Доктор Мирцель собрался уезжать к своей матери, и мы устроили ему скромный прощальный вечер. Опять он назвал меня маленьким евреем, которого следует дрессировать на спортивных площадках. Тереза в проводах не участвовала. Луиза нашла себе кавалера и ушла гулять.

Она не находит себе места в доме, с тех пор как нету Амалии. Возвращается запоздно, красная, как бурак, вся растрепанная и тотчас зарывается в одеяла. Однажды вечером разрыдалась горько:

— Как покинула нас Амалия, так покатилась я и падаю все ниже и ниже. Парни жрут меня, нажираются. И чем это кончится?

— Еще немного, и мы вернемся домой, и все забудется, — успокаивала ее мама. Но Луиза не утешалась. Слепое, загадочное страданье точило ее, и все время она вспоминала Амалию. Словно не только с молодостью рассталась, но и божков своих потеряла. В ту же осень Луиза ушла от нас.

Осенью отец отправился в далекую поездку судиться о заброшенном наследстве. Это была очень старая и некрасивая история, не дававшая отцу покоя, и отец решил покончить дело судом. Но дело, по-видимому, запуталось. Удача на литературном поприще от него тоже отвернулась. Издатель требовал сокращений, указывая на утомительные длинноты. Отца это, помнится, очень рассердило; однако, по своему обыкновению, он со временем пришел к выводу, что прав издатель. Дефект налицо, дефектов множество, если разобраться. Да и стиль хромает тоже.

Правил он долго и усердно. Результаты его не удовлетворили. Он написал длинное, извиняющееся письмо и попросил вернуть рукопись. И так как всплыла еще и та самая старая некрасивая история, отец решил поехать и покончить по крайней мере с этим делом. Авось оно поможет и обиду утолить.

Но повернулось не так, как думалось; на то маленькое наследство объявились многие и настойчивые претенденты, нанявшие ловких адвокатов. Неделю не было никаких вестей, и в конце той недели мама спешно выехала к отцу, оставив меня с новой прислугой, высокой женщиной с прозрачными северными глазами, занудой, лишенной чувства юмора.

Мой распорядок дня внезапно сковало холодом и порядком, на мою постель по ночам безжалостно ложился холодный свет. Новая прислуга до нас, как видно, служила в высоких, одиноко стоящих домах, и оттуда принесла к нам эту стужу.

В один из вечеров появился на пороге мой учитель музыки Данциг. Он вытянулся, отошал, и его костюм в полоску, который был в прошлом безукоризненно выутюжен, теперь был запущен и сидел мешком. Новая прислуга собралась было захлопнуть перед ним дверь, как перед нищим, но я категорически потребовал впустить его и подать кофе. Сначала она пререкалась со мной, но я твердо настаивал, и она уступила. И только тогда я увидел, как учитель Данциг изменился. Лицо осунулось, легкая дрожь в левом плече распространилась на руку, и длинные пальцы, исполненные некогда сдержанного изящества, тряслись теперь в такт плечу.

Он отплывает в Австралию, но перед тем, как покинуть Европу, решил зайти и принести нам свои извинения. виноват он сам. Игру его губит какой-то тайный изъян, который он не в силах обнаружить. Мы сидели в гостиной, и он рассказывал о родителях, зажиточных торговцах мануфактурой, как всю свою жизнь они трудились ради него, посылали из одного музыкального училища в другое и от одного музыканта к другому, чтобы справиться с недочетами, портившими его игру. Сначала казалось, что он вытравит их и, может быть, даже извлечет из них некую новую силу. Это была одна видимость. Что-то такое в его пальцах, а может, и что-то в нем самом не давало ему добиться совершенства; и тогда он решил, по совету покойной матери, стать учителем музыки и обучать скрипке детей из богатых семей, но внезапно обнаружил, что передает свои изъяны маленьким ученикам.

— А ты играешь еще? — спросил он.

— Нет.

Я не знал чем его порадовать. Принес свой школьный табель и показал последнюю книгу отца, которую очень хвалили. Из кухни следила за нами новая прислуга. Я видел: она злилась, что сидим в разубранной гостиной. Я зато радовался. Ко мне наконец вернулся понятный кусочек жизни. Я стал многоречив и рассказал про Терезу и про ее успехи в школе изящных искусств в Вене. Его неподвижное лицо, потемневшее на уличном холоду, словно оттаяло ненадолго, он глядел на меня с жалостью. Теперь я знал: малень-

кие вьедливые дефекты разрослись в раны, и теперь он берет с собой эти раны в далекую Австралию. Я рассказал ему о Луизе. Было время, когда и Данциг проводил с нами наши долгие каникулы, он привозил с собою скрипку и играл нам. Уже тогда было в нем нечто от повадки застенчивого холостяка, но мы все же видели его иногда в обществе сельской девушки. Данциг, бывало, жаловался на дефекты, и отец развлекал его советами: "Женитесь, мой друг, на крестьянке, или крещение примите — и дефекты как рукой снимет. Искусству противопоказана еврейская чувствительность".

С тех пор дефекты превратились в раны.

Прислуга подала ему кофе со старым куском торта, и Данциг уставился в чашку. А я осекся, не зная, что сказать и чем его развеселить. Голова, опущенная к чашке кофе, — вот что сковало мой язык.

— Почему бы вам не остаться с нами? Родители будут очень рады.

— Сделанного не вернешь. Завтра я должен явиться в Вену.

Я знал, что маленькая моя рука не в силах ему помочь, и все-таки просил и повторял: "Останьтесь!" Вот и все, что я мог в тот момент. Данциг встал: "Я должен идти". Вечерний свет угас, и я остался у порога, обеднев и горестями.

Назавтра возвратились родители и внесли в дом чужую сумятицу и чужие слова, подхваченные, как видно, там. Ничего не поняв, я чувствовал лишь одно: они еще не вернулись, они еще там. Отец скинул зимние ботинки, одежду раскидал по гостиной, и его вид выражал рассеянность утомившегося дельца. Мама не умолкая оправдывала главного свидетеля, выступившего на суде. А когда я рассказал им, что накануне приходил Данциг — он уезжает в Австралию, — отец уронил: "Кто?" Мама тоже не поинтересовалась подробностями. Оба настолько были заняты судебным делом, что напрасно было пытаться привлечь их внимание к чему-либо другому. Отец поносил ничтожных евреев, помешанных на деньгах и всюду сеющих раздоры. Низкая страсть сводит их с ума.

Ту ночь я провел в обнимку с моим маленьким одиночеством. Теперь я знал: спокойные, неподвижные дни, наполнявшие комнаты миром незначительной суеты, отошли в прошлое.

Дом наш надолго поглотило судебное дело. Отец не переставал рассказывать про злонамеренных свидетелей и негодных судей. И, хотя имени Амалии не упоминали, похоже было, что запретный ее голос бьется между двойными рамами окон, и отражение ее лица не исчезнет и с приходом зимы.

Тереза уже ушла с головой в свои студенческие занятия, и ее прелестные письма волновали нас. Она преуспевала в учебе, но письма не выражали никакой особой радости. Была в них бездна подробностей — свидетельство тонкой проницательности и ума. Отец читал и, бывало, приходил в восторг от точных описаний, не лишенных скрытого юмора, она сама, казалось, в стороне от всей этой студенческой суеты. Никто не подозревал, что и тяжким летом не упустила она ни единой детали из того, что творилось дома. Вроде приезда и исчезновения тети Амалии, причуд дяди Сало, женских мук Луизы. И вот теперь, в такой дали она стала нам очень близка. Кто мог себе представить, что в этой чистой душе уже гремят барабаны темного леса...

Ночной поезд домой из Бадена я помню теперь отчетливо. Дорогу эту мы проделывали из года в год. С детства меня там сопровождали ночные шорохи счастья и страха. Но более всего дорога эта мне памятна из-за сумбурной той поездки вместе с младшей маминой сестрой, тетей Терезой: еще каникулы были в разгаре, когда на лице у нее вдруг выступила бледность какой-то тайной гложущей мании и разлилась до самой шеи. Несколько дней она звука не произнесла, словно впала в транс. Когда опомнилась, лицо прорезала острая морщина. Сжатый рот издавал нечленораздельные звуки – слова, смысла которых я не понимал. Но места среди нас, это я сознавал, ей уже не было. Гладкий лоб был осиян тонкой, жуткой красотой. Мама бросилась укладывать два пестрых чемодана; и свет лета, зеленая его радуга, обернулась для нас безобразной осенней тучей.

Солнце сияло, и мы стояли у заднего, неказистого входа в пансион, отец шептался с главным официантом, словно речь шла о какой-то сомнительной сделке. И экипаж, приехавший забрать нас на станцию, тоже не отличался великолепием. Простая повозка, в которую запряжены два тощих коняги. Как будто мы внезапно разорились. Отец зашагал к повозке впереди нас, почему-то расстегнув пальто, словно пытался заслонить этот стыд и срам.

– Пошел, – сказал отец по-деревенски грубо.

Повозка свернула вбок на грунтовую дорогу, через заводской район, куда нога наша никогда не ступала. И если еще оставалось место для сомнений, то затем замелькали

жалкие, мрачные домишки возле сахарного завода, свидетельствуя, что каникулы не завершились приятно, щедро и широко, как все годы до сих пор.

Последние месяцы тетя Тереза находилась в знаменитой лечебнице св. Петра из-за периодических припадков депрессии. Мама ездила туда каждую неделю. В эти поездки она надевала одни и те же пальто и шляпу, и, когда возвращалась, с ее лба струился резкий свет. Как оно там, и тому подобные вопросы, я не задавал никогда. Такой был у нас уговор, ничего не спрашивать. И вот весной она неожиданно к нам приехала. Высокая, волнуяще юная и очень похожая на маму, даже манерой сидеть в кресле. В ее лице не замечалось никаких новых, незнакомых черт. Длинное платье шло к ее фигуре. На улицах разлилась приятная, умеренно теплая весна, и в доме у нас тоже поселилась радость. Отец выпустил четвертую книгу, и она имела успех. Два журнала хвалили его стиль, писали, что он обогатил австрийскую литературу новой эстетикой — новой, хотя и ущербной. Стефан Цвейг поздравил его письмом. Перепало от папиного успеха и на нашу долю. Дома у нас не затворялась дверь. Входили и выходили судьи, адвокаты и врачи, искавшие в провинциальной тиши хоть крохи духовной пищи.

Весна, однако, принадлежала Терезе. Ее лицо вечерами, подле камина, платье до пят, — она была воплощением религиозного чувства, принявшего образ женщины. Мама не отходила от нее ни на шаг. Про свое санаторное житье она не рассказывала ничего, но все ее движения, широкие, исполненные благородства, вызывали ассоциации с вечерним ветром, высокими деревьями и жизнью, стремящейся к отрешенности. Тихая эта прелесть и нас заворожила. Просторные комнаты жадно ловили солнечный свет. На балкон вынесли два цветастых тента; и, хотя прислуги в то время у нас не было, к ужину обильно подавалась зелень.

И ночи словно очистились от мелких печалей. Речь отца захлестнула меня трезвыми, совершенно понятными словами, вроде таких: "Давай-ка, возьмемся вместе за угловой столик и вынесем его на балкон. Весною небо нас не обманет". Или мама предлагала вынести и соломенные кресла, но при этом — с той нерешительностью, с какой

она высказывалась всегда, словно из-за некоего пробела в воспитании. На миг эта небольшая перестановка мебели приблизила к аромату старого ритуала, позабытого нами и теперь как бы в миниатюре возрожденного.

Лето подошло, и на лице Терезы нельзя было заметить ничего, что могло бы дать повод для опасений и тревог. В своем узком летнем жакете она снова выглядела как студентка, в движениях которой чуть сказывается утомление от учебы. А я — мои занятия в школе кончились. Время выезжать. Эта милая переходная пора с ее непременно приготовлениями была на сей раз особенно праздничной. Тереза цвела тишайшим цветением, вызывавшим мысль об укромных местах, где, как видно, она и побывала. Приобретенная там безмятежность не сходила с ее лба и когда она смеялась. И вдруг, — мы тогда уже находились на природе, на пьянящем свете, плыли по реке, предаваясь солнцу, — на лице Терезы проступила та самая бледность тайной снедающей страсти, разливаясь, поползла на шею и до самых ее тонких пальцев. А после — то же молчание, похожее на сон наяву.

Мы остолбенели, как если бы увидели перед собой самое жуть. Мама упала на колени и взмолилась, сжимая Терезе руки: "Ну, что случилось? Что случилось?!" И, после того, как все речи оказались бесполезны, отец отправился к расчетной стойке и зашептался с главным официантом. Вид у отца был панический. С заднего, темного крыльца мы спустились в померкший день.

На станцию мы добрались к ночи. Оказалось, что переменили расписание и мы опоздали на экспресс. Осталось дожидаться следующего в узкой полоске яркого света и клубящегося в нем пара. Теперь я увидел: под дырявыми навесами висят черные от копоти баки и от них исходит противное жужжание.

Отец курил одну папиросу за другой, его глаза блуждали. Словно искали способ заслонить нас и уродливую скамью, которая, выделяясь, торчала против места посадки в плацкартные вагоны. Мама зачем-то надела дождевик. Недалеко, из соседнего пакгауза с бревенчатой эстакадой, протянутой к вагонам, выводили теперь лошадей, пару за

парой в мешках, завязанных на глазах, и в путах. Лошади шарили копытами по бревнам неплотного мостка, спотыкаясь и вскидываясь, словно от страха перед плетью погонщика, оравшего в воротах пакгауза. Другой погонщик, возле вагонов, обжигал лошадей кнутом, как только они перебирались через эстакаду; лошади вставали на спутанных ногах на дыбы и рушились в глубину вагонной коробки. На момент эстакада опустела, погонщики обменялись взглядами, и новая пара, стреноженная и ослепленная, показалась в воротах пакгауза.

Совсем иной мрак пал с крыш, и зрелище исчезло из моих глаз.

– Принести лимонад? – спросил отец.

А тем временем задний перрон наполнился людьми. Зарешеченные фонари освещали мокрый настил. И мне почему-то казалось, что вот-вот ослепленные лошади ворвутся на перроны и заточтут людей. Неподалеку, возле kiosка собралась другая компания, в черной и полосатой одежде, жадно поедавшая бутерброды.

– Кто они такие? – спросила Тереза.

Вопрос, как видно, не был услышан. Тереза повторила:

– Кто это?

– Евреи, – нагнувшись к Терезе, сказала мама шепотом. Как объясняют темное слово. Уличное.

– Последние годы их очень много развелось тут, – сказал отец как-то нарочито громко. И тотчас добавил про себя:

– Попьем в вагоне.

Глаза Терезы теперь светились и не сходили с этой близкой точки. Словно пытались поймать ее в свой лучистый взгляд. Внезапно она рассмеялась:

– Едят бутерброды.

Прелестный отдых, переплетение деревьев и воды, внезапно съезжился здесь, в промозглых потемках, оставивших лишь узкую полоску настила, изрезанную неверным светом ламп. Возле прилавка сидели, покуривая, носильщики. На лицах у них была написана тусклая неопределенность.

– Кто они такие? – снова спросила Тереза.

— Евреи, — сказала мама.

— Куда они едут?

— Не знаю.

О евреях дома у нас говорили всегда, но всегда шепотливым голосом и с какой-то гримаской. А иногда и со вспышкой чувств: не отрицаем — и мы евреи. С тех пор, как отец открыл для себя Бубера, наш маленький этот стыд обрел некоторое, неполное, оправдание. Несколько лет назад отец отправился во Франкфурт на встречу с Мартином Бубером. Дома возникло некое ожидание, суть которого объяснить мне мама не умела. Его возвращение оказалось, однако, не слишком радостным. Мне он привез целый мешок игрушек, но лицом он не посветлел. Не удалась встреча, как я понял со временем.

Теперь я впервые видел восточных евреев: низкорослые, тощие, стоят у киоска и жадно едят. На некоторых еще прежняя их одежда. Даже во время еды, они, казалось, приклепаны друг к другу. Ничего замечательного в их ночном виде не было. Мы бы глазом не повели в их сторону и на этот раз, если б не Тереза, вперившая в них свой лунатический взгляд. Снова она спросила:

— Куда они едут?

— Не знаю, — сказала мама.

Темнота спустилась теперь с высоких дырявых навесов и подвешенных к ним баков. На задних перронах третьего класса становилось от народа все тесней. Перрон первого класса был пустой. Отец стоял у барьера, точно сторожил разделительную черту.

Вынырнул экспресс, и Тереза поднялась на ноги, как девушка, которая еще не перечит воле своих родителей. Отец схватил оба пестрых чемодана и одним махом втолкнул их в тамбур. Вагон был пуст. Знакомый запах духов и табака повеял на меня чем-то родным и домашним. Пустые обычно вагоны первого класса всегда встречали нас зеленоватым от зеленых занавесок светом; скудный, но все еще осязаемый отблеск лесов и парков, откуда мы ехали. Немногие разрозненные лица казались мне тут всегда измотанными или болезненными, однако не лишенными веселья. Часами

я, бывало, вслушивался в это тихое движение, замороженный беззвучно поднимающейся музыкой.

Теперь вагон показался оскуделым. Может быть, из-за коричневых занавесок. Тени населяли все его углы. То были человеческие тени, недавно покинутые здесь их владельцами.

И когда вагоны уже мчались и первому классу начали подавать полуночный кофе, Тереза вдруг очнулась от своего сна наяву:

— В санаторий я не вернусь. — Ее нежное лицо потемнело, и рот у нее резко сжался.

— О чем ты говоришь, — встрепенулась мама, подбирая слова, — мы и не думали!

— Раз так, поклянись мне.

— Клянусь, — сказала мама.

Теперь стало ясно, что слова тут не помогут. Она требовала снова и снова, чтобы мы отвезли ее домой, и не к нам, а к родителям.

— Нету у нас уже родителей, — взмолилась мама.

Ответ Терезы был жестокий.

— Конечно, нету, мы убили их.

Голос ее задрожал в каком-то мрачном пафосе. Словно речь была не о ней самой, а о некоем отвлеченном зле, которое мы ей причинили. И она встала на ноги на ходу мчащегося поезда и объявила, что на ближайшей же остановке мы сойдем. Она вынести не может эти зеленые запахи и козни, которые тут плетут против нее. Мама умоляла и божилась, что никто не замышляет против нее ничего плохого. В вагоне и нету никого, одни мы. Но Тереза, как видно, уже отключилась. На следующей станции мы сошли, таща чемоданы, точно бедняки.

Время было уже за полночь. Безлюдная станция была наполнена плеском холодной воды. Зажегся огонь семафора, и поезд ускользнул в глубину ночи. Оказалось, что и евреи сошли на этой остановке, весь рой со всеми пожитками. Теперь, со своими вопящими детишками, они напоминали рассыпавшийся узел.

— Где мы находимся? — спросила Тереза гневно.

Ярость отца, странное дело, избрала сейчас своим предме-

том этих несчастных. Словно они с умыслом привязались к нашему ночному скитанию. Существование больной Терезы точно вылетело у него из головы. Пестрые чемоданы, украшение нашего отдыха, лежали на земле оскверненные.

— Повсюду на них натыкаешься, — сказал отец со злобью.

Мама все старалась ублажить Терезу всякими непонятными мне словами. В конце концов она призналась, что да, действительно, была мысль везти ее в санаторий, и теперь ей ужасно стыдно за такое намерение.

В глазах у Терезы, однако, застыла мрачная подозрительность. Башенные часы далекой церкви пробили полночь, и мы стояли у ворот, возле длинных запертых пакгаузов, рядом с роем жалких скитальцев, которых не впускал внутрь станционный сторож. Так вместе стояли мы под мрачно-холодным летним небом. Мама осмелела и спросила:

— Куда пойдём?

— В церковь пойдём, — сказала Тереза твердо.

— Все церкви закрыты по ночам.

— Это ничего не значит.

— Пойти мы пойдём, но только не здесь, — вернул себе отец чувство собственного достоинства. Станционный сторож толком ничего не знал, кроме одного — поезда этой ночью больше не будет.

— А гостиница есть поблизости?

— Кажется, нету.

— Зачем же экспресс здесь остановился, раз люди здесь не живут и гостиниц тоже нету?

— Он меня спрашивает, — удивился сторож.

— У кого же спросить, если не у вас?

— Спрашивать можете, ваше право, разумеется, но не ждите от меня ответа.

— А экипаж? Экипажа тоже нету?

— Есть там кто-то. Спит на скамейке.

Темнота вокруг редких станционных огней сгустилась теперь плотным кольцом. Летняя стынь, мокрая от близ-

кого соседства реки, холодила наши лица и забиралась под одежду.

Сонный извозчик снизошел к нам и согласился везти. Стиснутые и продрогшие, сидели мы в старом рыдване, тащившемся по немощным дорогам, через узкие сельские мостики, подчиняясь больному капризу Терезы.

— Не слушайте их, поезжайте к церкви, — обратилась к извозчику Тереза.

-- Церкви по ночам закрыты, госпожа. Там никого нету.

-- Говорю вам, езжайте к церкви.

— С вами господин. Поеду как скажет господин.

— Поезжайте к церкви, — сказал отец.

-- Почему тогда сразу не сказали? — заворчал извозчик. — Теперь придется сделать лишний конец.

Упорное намерение Терезы напугало, по-видимому, и отца. Рыдван наш карабкался с холма на холм. Сменялись в темноте огни, дальние, приглушенные точки света мерцали, как из далекого космоса. Странствию этому, казалось, не будет конца.

И вот повозка остановилась подле маленькой сельской церкви, огороженной обыкновенными простыми кольями.

— Приехали. Чего вам надобно? — воскликнул извозчик, как будто имел дело с призраками, а не с живыми людьми.

Отец вышел и остановился, словно не стало у него больше собственной воли. Тереза возвышалась в ночи, как недужная жрица. Подле нее сгорбилась мама. И не успели мы загадать, что Терезе придет в голову теперь, как она зашагала твердым, решительным шагом в сторону ворот, раздвигая на пути мешавшие ветки, словно человек, который и в темноте знает свою дорогу. Мы потащились за нею как слепые. Поставя у запертых ворот, она упала на колени, склонив голову в земном христианском поклоне, перекрестилась и тотчас же разрыдалась, захлебываясь и сотрясаясь всем телом.

Мы кинулись ее поднимать.

— Езжай! — яростно закричал отец извозчику. Словно хотел, чтобы у лошадей выросли крылья. Перед ними был склон, и лошади поскакали. Тереза рыдала, дрожа всем телом. Мама укутала ее в свое зимнее пальто.

— Живее, живей! — понукал извозчика отец. Лошади перешли на свой обычный шаг и отказывались ускорить его. Весь остаток ночи тряслась повозка по буграм да по бездорожью.

С рассветом мы были на сонной станции. По лицу отца струились серые тени, словно он попал во власть какой-то чужой силы. Мама очень старалась быть практичной. Извозчик заломил неслыханную цену, и отец сделал широкий жест и не стал торговаться.

Пока мы так стояли, Тереза вздремнула в объятиях у мамы. Неспешно двинулись мы в утренние сумерки. Остановится ли экспресс? По словам начальника станции, находившегося уже на месте, иногда останавливается, иногда нет. На этот счет поезд имеет указания из центра.

— А от вас это совершенно не зависит?

— Совершенно нет.

Отец стоял с двумя цветными чемоданами по бокам, словно готовый дать волю своему отчаянию. Экспресс прибыл точно по расписанию и остановился.

Мы перенесли Терезу в пустой первый класс. Сон ее был глубок, соединен с ночным скитанием. Серые тени не сходили с лица отца, точно высасывали сок его жизни.

Вспомнилось мне: какие веселые были некогда наши возвращения домой из Бадена! Теперь мы пленники даже в знакомом нашем экспрессе, пересекающем до боли знакомые места. Две дамы степенно прихлебывали утренний кофе. Старушечьи их лица выражали какое-то отвратительное удовлетворение. Словно возникли вместе с ночными нашими кошмарами. В соседнем вагоне буянил пьяный, и кондуктор сцепился с ним. Пьяный осыпал ругательствами евреев и деньги их, и поезда, которые всегда опаздывают. На брань кондуктор внимания не обращал, требовал только, чтобы пьяный освободил место. Две старухи, прекратив разговор, взглянули на нас искоса, сбоку, рассматривая исподтишка. Уже совсем рассвело, и знакомые рощи, знакомые пастбища, которые мы проезжали из года в год, с раннего моего детства, снова выступили во всем своем изначальном блеске. Морщины на лбу Терезы разгладились, и белизна ее лба расчистилась. Теперь я понял: о Те-

резе в нашем доме никогда не говорили в полный голос, лишь словами, которые вызывают мысль о религиозном чувстве или — о безвременной смерти.

Вагоны мчались, и нами снова начал овладевать страх, оттого, что еще немного и опять мы останемся наедине, лицом к лицу с Терезой. Но сон поправил ее, как видно. Она проснулась, и лицо у нее светилось тихим смирением. Не задавала больше вопросов, словно добровольно обязала себя вернуться в санаторий. И от этого мы немедленно почувствовали какую-то неловкость, точно ввели ее в обман. Мама спросила:

— Разве ты не хочешь вернуться к нам?

— Отдых кончился, — Тереза улыбнулась. — Меня ждут сестры.

Теперь она говорила о сестрах, как об очень близких, кровных людях. Мама спросила почему-то, не нужно ли ей пальто, и Тереза ответила, что обеспечение и режим там прекрасные. Утром монахини становятся на молитву, и кто пожелает, может к ним присоединиться. Пищу подают вовремя. Она говорила как-то неспешно-мягко и отрешенно, словно мирный покой санатория владел ее мыслями. Нам это доставило облегчение, однако весьма странное, как если бы внезапно мы стали лишними, исключенными из ее болезни.

До конца пути оставалось все меньше и меньше. В полдень приехали в санаторий. В замешательстве стояли мы среди этого пространства сводчатых потолков, украшенных лепными символами культа. Это был монастырь, во дворе которого находилась лечебница св. Петра. Монахини встретили нас доброжелательно и не задавая никаких вопросов.

Вся фигура Терезы исполнилась теперь благовоспитанной деловитости, как у человека, который вернулся к себе и близким ему вещам; и мне казалось, что еще немного и она снимет отпускную свою одежду и наденет монашеское облачение. Лицо у мамы было сморщенным — вот-вот заплачет. Но она не заплакала. Руки у нее были странно опущены, точно стыдились своей праздности.

Так вот мы обнаружили себя вдруг лишенными всяких обязательств, и только одни мы посреди мирного простора

ухоженных лужаек, статуй и фонтанов. Две монахини деликатно обвили Терезу руками, и нам осталось лишь глядеть, как она удаляется, ступая по бело-мраморному полу. Запомнилось мне: Тереза не обняла маму.

К ночи мы приехали домой. Два цветных чемодана встали в угол у прихожей. Их кожа была пропитана всеми унижениями и скитаниями. Отец переобулся в домашние туфли, и пришел в себя. В комнатах был беспорядок, словно после чужих людей, буянивших здесь в наше отсутствие. Мама не стала переодеваться. Она сидела в кресле, ее большие глаза были тусклыми от стершегося грима. Я свернулся на диване в надежде, что кто-нибудь подойдет ко мне и разует меня. Но мама ко мне не подошла. Из каждого угла комнаты поднималась холодная, всепоглощающая грусть.

Потом отец с мамой сели за угловой столик и поставили перед собой коробку сардин. Они макали хлеб в консервный соус и молча ели. И мне почему-то показалось, что никогда еще они не ели так, с таким грубым упорством. С голоду забыли, как видно, про манеры.

Я попытался вспомнить наши страхи, но ничто меня не пугало. Только образ в приемном покое, дева Мария, кормящая розового младенца. Я чувствовал: это розовое на темном булькает, сочится каплями у меня в мозгу.

С неба хлынуло внезапно. Неизвестный враг отца затеял серию разносных статей о его творчестве. Провинциальная газета, круг интересов которой обычно не шел дальше местной политики и экономики да еще раздела для женщин, внезапно открыла для себя новое сенсационное поприще, — сочинения отца. "Человеку не дано знать, где могут закопошиться его враги", — проговорил отец, когда получил первый номер. Вступительная статья не оставляла сомнений, что враг не удовлетворится первым уколом и намерен продолжить и распространиться.

Автор спрашивал себя: кого он выбрал в свои герои, и отвечал: это не австрийцы-горожане и не австрийцы-крестьяне, а евреи, потерявшие свое лицо, так что они теперь не более чем ничтожества, развращенные, сбившиеся с пути; паразиты, которые кормятся исключительно за счет здоровой австрийской традиции; не своими соками питаются, а чужими. Нельзя отрицать, что этот паразитизм имеет и свою прелесть, но это прелесть паразитизма.

Выступление было язвительным и злобным, но еще допускало мысль о некоторых заслугах, особенно в той его части, где много и подробно толковалось про ту самую предосудительную прелесть. Отец кипел, однако пытался скрыть свое возмущение. Он полагал, что кто-нибудь из многочисленных друзей выступит в его защиту. Не выступил никто. Прошла неделя, и появилась вторая статья. Теперь ненависть была неприкрытой. Не сочинения судила статья, а их сочинителя. Критик не поленился сделать подборку из его первых произведений и демонстрировал, как

паразитизм этот возник и как он пустил корни, да такие, что добрался до самых соков австрийской литературы, и вот размножает свои споры на этой почве. Не люди это, а хилые бесы, нету в них крови живого чувства — один злой ум. Он собрал все, что могло стодиться в улики, не забыв и стихи, которые отец печатал в молодые годы в студенческой газете.

Но утверждать, что это пишет антисемит, тоже нельзя было. Фамилия свидетельствовала, что критик — еврей. Статьи печатались из недели в неделю, а ответного выступления все не было и не было. Словно с тяжкими выводами все согласились. И тягостная осень объяла город, отец спустился в подвал за углем и принес полные два ведра. Мама вставила в окна зимние рамы. И приятели, которые приходили по вечерам, говорили, конечно, о неприятнейших, пахучих статьях, занимавших целые полосы и клеветующих на отца. Отец не терял присутствия духа, но по лицу было видно, как нелегко ему это дается.

В то время стали приходиться первые письма Терезы из монастыря. Она рассказывала про преданную заботу монахинь и про тишину, разлитую среди растений сада. Длинные, подробные письма, на которых лежал отблеск монастырского спокойствия. Некая прозрачность, напоминавшая острый зимний воздух.

Ни жалоб, ни раздражения. Точно жизнь ее бросила якорь на теплом дне. Она описывала режим дня: подъем, завтрак, прогулка, богатая библиотека. Ужин сервируют в старом здании; вечер завершается молитвой. Мама читала и плакала.

Впервые тут появились новые слова, которые Тереза усвоила: благочестие, ступени молитв, созерцание и просветление. И другие слова, смысла которых я не понимал, только чувствовал, что слова эти тонкие, молчаливые, не терпящие, чтобы их произносили в полный голос.

Мама запаковала по отдельности одежду, конфеты с шоколадом, банку варенья и сухие булочки. Хотя она не сказала, я знал: это для Терезы. Вместе мы отправились в почтовое отделение. Длинную дорогу по бульвару Габсбургов мы проделали пешком. Мама молчала, и я прислушивался

к ритму ее шагов. В моем дневном расписании ничего не изменилось: немецкий, латынь и алгебра, после обеда – зубрежка. Действие ядовитых статей начало сказываться в нашем доме. Отец их читал и перечитывал. Можно было услышать, как он, стиснув зубы, борется с дальним своим врагом; лишь вечера помогали ему забыть о стыде. Вечерами приходили друзья и шумливо наполняли дом. Отец повторял, что он готовит подробный ответ, который совершенно разоблачит мошенника. Мошенник – такое теперь было прозвище того самого неизвестного критика из провинции. Но между тем мошенник проник внутрь и присутствовал не только на газетных полосах, но и в самом нашем доме; угла у нас не было свободного от него. С недели на неделю статьи его увеличивались в формате и провозглашали по всей Австрии: пора изничтожить еврейскую эту заразу!

Только не ведает человек, когда пробьет его час. Еще печатались статьи и шум от них еще распространялся из конца в конец, а сам тот неизвестный критик – умер. Издатель газеты почтил его некрологом на срединной полосе. И тут мы впервые узнали, что человек этот был тяжело болен, прикован к постели и, когда писал последние статьи, ему помогла его сестра. Странное облегчение снизошло на наш дом. Отец не обрадовался, лишь заметил, что человек не знает своего срока и своего места тоже. Злые духи несколько дней еще бродили, но власть их пошла на убыль. Иной раз мы еще слышали, как отец ругается в сердцах. Однако вспыхивал он все реже и вскоре вернулся к своим книгам.

Письма Терезы теперь приходили одно за другим. Отец читал их и восхищался точностью описаний и эмоциональным богатством. Видно было, что монастырская жизнь околдовывает ее и чувства ее пробуждаются при виде не одного только пейзажа. Почерк был тонкий и четкий, без единой помарки. Мы запирались с письмами Терезы, перечитывали отрывки из них.

Однажды утром мама встала и объявила:

- Поеду.
- Куда?

– В монастырь.

Вечером она вернулась. На ней был ее шерстяной платок, лицо красное, лоб совершенно гладкий. Прежняя скорбь застыла на губах, обернувшись чужой и неподвижной. На расспросы отца мама отвечала, что Тереза хорошо одета, в комнате порядок, и на ее столике нет ничего, кроме Евангелия. Она охотно разговаривает обо всем. Мамин рассказ при этом, я заметил, был сдержанный в высшей степени, негромкий и без всяких лишних примечаний. Отец спросил, не думает ли Тереза принять крещение и какая будет процедура; об этом вообще разговору не было, сказала мама.

Дни тишали. Облик того анонимного критика принял другие черты. Не мошенник отныне, а Таухер. Михаэль Таухер, за полным именем и фамилией. Причем человек проникательный, определенно разбирающийся. Бедный Таухер, который пожил так мало; Таухер, бедной сестре которого пришлось за ним ухаживать. Так Таухер обосновался у нас на жительство. И поселился не на временных основаниях, а как подопечный.

И если мама пыталась разбить какой-нибудь довод того самого неизвестного критика, отец сердито обрывал ее: "Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты разве не видишь, что его рассуждения основаны на тексте?!" А иногда бросал: "Тебе этого не понять..." И все время, между уроками латыни и алгебры и отрывками из старонемецкой словесности, которые меня заставляли заучивать, вертелся тот умный бес, таскаясь из комнаты в комнату на своей тележке. Спрашивать его ни о чем не нужно было. Ведь на все он уже ответил. Надо лишь полистать его статьи. Мама старалась смягчить папины страдания свежими пирожными домашней выпечки. Отец раздобыл, и его голова отягочала шею.

Последние летние каникулы мы провели в сельском доме тети Густы. Уже тогда было ясно, что свет солнца больше не наш, и деревья тоже. И все-таки была какая-то теплая близость между нами и немногими предметами отшельнического быта, которые тетя Густа любовно берегла.

Тетя Густа лежала немощная; глаза открыты, на низком соломенном стуле две склянки — скорбный знак длящейся болезни. Долгие часы, пропитанные, как всегда, благоуханием, от одной готовой выпечки до другой, снова были как один час, и вечера наводили на меня внезапный ужас близкого конца.

Отец тогда правил свою новую книгу. Он погрузился в эту работу с мучительным пылом, как человек, торопящийся догнать, ухватить отвернувшуюся от него удачу. Из своей новой книги он вырвал многие страницы. Произведение ему не нравилось. Чуть ли не ежедневно мирное жилище сотрясали телеграммы и экстренные письма. Издатель, как видно, не мог уразуметь эту манию сокращений, обуревавшую писателя. Он умолял и негодовал, и забрасывал его паническими письмами.

В этой странной суете прошел у нас весь июнь. В конце концов отец примирился с многочисленными недостатками. Написал длинное извиняющееся предисловие, и настроение у него исправилось. И дни, следовавшие за этим, были мирные, дышали неторопливым дыханием села. Отец ходил в коротких спортивных штанах, мама в саду опускала на лицо прозрачную вуаль. Обильная вода

ручья неслась беззвучно, словно растворив в немых струях свой нетерпеливый шум. Немедленно начались прогулки; сначала короткие, они увеличивались, росли, ветвились и превратились в сплошной тенистый лес молчанок и неслышных шагов. Даже тете Густе стало лучше. Не дай Бог упомянуть Вену, Прагу, газеты и журналы. Восхитительное забытие, точно сотканное из ароматов цветения, погрузило нас в свою сумеречную толщу. И дни втихомолку пристраивались к ночам. Вставание, походы, близость, неизъяснимая в словах, которая к вечеру загорелыми и усталыми возвращала нас назад, точно к ритму бездумного мотива.

В июле шли сильные дожди, и нам пришлось сидеть дома. Отцу вспомнилось его неудачное произведение, и лицо у него затосковало. Напрасно мама старалась отвлечь его. Перед ним вставал каждый дефект и требовал удовлетворения. Мы знали: слепые тернии впились в его тело.

Приехал доктор Мирцель. Летом он жил у своей престарелой матери и зимой возвращался в Вену. В то время он писал свою известную книгу: "Ликвидация иудаизма -- облегчение и лекарство". Отец знал его с юных дней: вместе учились в Вене и некоторое время жили в Праге. Мама считала, что отца необходимо окружить людьми и нельзя его оставлять одного. Целительного отвращения Мирцель, однако, не принес. Он являлся, пробовал пирожное, пил кофе и извергал свое веселое отчаяние во весь голос. Спор приобрел односторонний характер: Мирцель дискутировал сам с собою. Его ненависть была красочна, полна силы и остроумия -- из этого источника он начерпывал слова, пословицы, анекдоты и даже песенки. Отец же замкнулся в себе. Множество изъянов, которые он обнаружил в своем последнем произведении, сделали из него покорного человека, хотя своих прежних манер внешне он не утратил. Никто, однако, не знал, что скрывает его лицо за немою маской. И летние дожди, некогда прибавлявшие нам бодрости, посадили нас в некое тесное затворничество друг подле друга. С меня больше ничего не спрашивали, ни латынь, ни математику, даже игру на скрипке. Я читал Карла Мея. А по вечерам мама сидела подле меня часами. Свет и тишина в обнимку текли тогда до теплой границы сна. Раз мама говорит:

”Не понимаю”, значит, что-то случилось — только моему пониманию оно недоступно. Веселость Мирцеля пугала меня. И утром я становился к окну и мерил круглые пятна света, роившиеся на занавесках.

Мама, однако, считала, что отца необходимо рассеять хотя бы вечерней болтовней, пусть даже веселым отчаянием доктора Мирцеля. Дождь не прекращался, и нас угнетало угрюмое молчание между приходом доктора Мирцеля и его уходом. И так как кроме него никто не приходил, слова, которые он оставлял, наполнили дом угрюмым резонансом. ”У евреев нет способностей к искусствам, все что из них получается — это канторы и комики. Не стоит переоценивать вклад евреев в австрийскую литературу. Правда, ими переполнены все журналы и все дешевые эстрадные подмостки. Я отвел бы им место в легковесных комедиях”. Эти его слова — метили ли они в отца? Трудно сказать. Отец не писал комедий, но зато сотрудничал в журналах. Его романы пользовались популярностью, и сам он был известен в Вене и Праге. Но в последнем году какая-то нехорошая оранжевая дымка начала стлаться в его глазах. В лице засквозила напряженная тоска. Иногда кружилась голова. Старая язва желудка проснулась и донимала его. Он подолгу сидел в кресле, как человек, который прислушивается к снedaющему его тайному недугу. Надежда, что отдых, вся прелесть этого изумительного пейзажа помогут ему рассеяться, оказалась недолговечной. Мама жаловалась на дождь, который нас запер, не оставив никакого выхода.

В конце июля сюрпризом появились дядя Люмпель и его молодая жена Сирель. Дядя был совершенно погружен в свои дела, которые, хотя они у него и процветали, оставались средними по размеру и до крупной коммерции не доходили. Тетя Сирель была помешана на моде и косметике. Как всегда, когда они показывались у нас, они принесли с собой немного городского переполоха. Чемоданы, разумеется; на станции потерялись оба их чемодана и потом нашлись целыми и невредимыми. Как обычно, тетя Сирель утомительно-подробно описала все их злоключения. Томно повздыхав, она переложила вину на мужа и упала в крес-

ло, как в беспамятстве. Нас их приходы всегда приводили в замешательство. Но мама, однако, считала, что отца надо окружать людьми и нельзя оставлять его одного. Тетя Сирель очнулась от своего обморока и начала кипятиться, хохотать и плакать. Как если бы весь мир постоянно провоцировал ее прихоти. Отец все глубже и глубже погружался в свою депрессию.

Спасла нас внезапно исправившаяся погода. Мы обедали на траве за расстеленной крестьянской скатертью. Глаза у отца ненадолго очистились от нехорошей оранжевой дымки. Он передразнивал гримасы Сирели и движения пальцев доктора Мирцеля. Долгие прогулки вернули мягкое выражение его лицу. Словно воскресли старые наши слова. Мы льнули друг к другу, как в детстве.

Если б не вечера, было бы лучше. Дядя Люмпель и тетя Сирель расположились себе как в отеле. Они раскладывали предметы своего обширного гардероба на виду у всех; и тяжелый запах духов и нафталина перешиб отшельнический аскетизм дома.

Спесь дяди Люмпеля, спесь преуспевающего торговца занеслась в тот год сверх всякой меры. Потому, может быть, что ему удалось открыть отделение в Зальцбурге. Он то и дело прохаживался насчет современной литературы — кормит заблуждениями и помешана на одних кошмарах. От нечистой совести все это. Разумеется, он имел в виду Кафку, которого отец обожал и считал жрецом истины.

Отец молчать не стал, и начались ссоры. Всплыли старые счеты, не известные мне истории, разбиравшиеся с невыносимой и ядовитой дотошностью. И, конечно, наследство, лишь несколько месяцев назад разделенное по суду после долгих переговоров и раздоров.

Отец крыл еврейское мещанство, которое не знает ничего другого, кроме денег, курортов и формальной религии. Дядя Люмпель в долгу не оставался: поносил модернистскую литературу, высасывающую из пальца призраки, кошмары и половые извращения. Истребить надо еврейских торговцев, вопил отец, они пачкают все светлое и благородное. Назавтра они ускакали прочь, как будто в доме начался пожар.

А в доме между тем поселились затравленные, тягостные настроения. Отец больше не писал, не правил и не отвечал на многочисленные письма, копившиеся у него на столе; и страдальчески морщился, когда упоминали какое-нибудь его произведение. Состояние тети Густы ухудшилось. Старый сельский доктор развел руками и сказал, что необходимо везти врача из города, притом срочно. Преданный этот старик, считавший себя евреем из-за деда, который был евреем и крестился, очень сблизился с нашим домом за время болезни тети Густы и все пытал и расспрашивал про еврейские обычаи. Затем начались тягостные до отчаяния хлопоты: один за другим приезжали провинциальные врачи и врачи из Вены. Отец возвращался из города усталый, разбитый, а иногда нетрезвый. Мама сидела подле него, как подле больного. Тетя Густа умирала медленно, со дня на день и в полном сознании. Растерянная бегодня отца из деревни в главный город провинции, врачи и медикаменты, постоянное присутствие сельского доктора, привязавшегося к нам, как брат родной, не облегчали отцу его мучений. Мы знали: время от ожидания до ожидания он проводит либо в трактире, либо за рулеткой. Мама не выдавала своего огорчения ничем.

В этой сумятице моя маленькая жизнь словно потерялась. Лесные тени слились с концом лета в сплав дивной красоты. Из переднего окна можно было увидеть квадраты полей — ковром до горизонта. Мысль, что вся эта мирная прелесть обречена на гибель, трепетала во мне, как сам голый страх.

Если б не экстренные письма, было бы легче. Письма упоминали снова и снова, что требования внешнего мира не исчезли. Есть издатели, журналы и статьи, которые отец обязался написать. И длинные летние вечера, дарившие некогда скромную радость домашнего уюта, были теперь высвечены светом без теней, точно недремлющая больница. Мама в неряшливом халате, доктора в комнате Густы, отец будто в полусне, как незрячий посланец, который свое дело сделал и теперь остается ему только утонуть в кресле. Старый доктор больше не вмешивался. Как будто там, внутри, обсуждались вещи, недоступные его разумению. И среди писем несколько открыток и фамильных пригла-

шений, которые при других обстоятельствах не обратили бы на себя внимания. Дядя Фрум поменял веру и отправился в Антверпен изучать теологию; наш известный племянник сочинил пасквиль на иудаизм как религию, которой не известно милосердие. То были тайные язвы нашей семьи, обнажавшиеся одна за другой, точно секреты, прятать которые больше невозможно.

Отец не протестовал, лишь заметил: "Сильные бесстрашно выходят навстречу жизни". Мне было известно, как много других мотивов кроется в этой фразе. Особенно задело мой слух слово "бесстрашно", которым очень любил пользоваться дядя Люмпель.

Старый врач, доктор Мейстер, тогда объявил: "Я никогда не стыдился своего еврейского происхождения". Он сказал это искренно и честно. Но отец почему-то решил, что старый врач имел в виду его утешить. "Мне лично, — сказал отец, — гордиться нечем. Мое еврейство меня не трогает совершенно".

В ту ночь врачи не выходили из комнаты тети Густы. Шепот, который нам удавалось поймать, был вял и непонятен, словно долетал с другой планеты. Врачи вышли к нам под утро, и на их лицах был написан приговор.

Тетя Густа скончалась в конце недели, и нам досталось проводить ее в мир иной по обрядам ее предков, как она заранее записала в тетрадь. Отец привез из провинции нескольких евреев. Они разговаривали на непонятном языке и шумливо шмыгали по комнатам. Это было уродство и позор, но, так как это была ее последняя воля, мы выполнили ее молча и смиренно. Странно было смотреть на отца, как он там стоит в потертой фетровой шляпе.

А когда мы вернулись с похорон, вид у комнат был такой, словно их разорил кто-то здесь, внутри. На стенах плясали призрачные блики. Занавески смятые, точно их передернуло. Никто не подошел затворить ставню. Вечером явился доктор Мейстер и сел на низкий стульчик, как человек, испрашивающий прощения. Никто его не согрел, и его кротость позорила нас еще больше.

На следующий день отец в город не поехал. Мама попыталась вернуть комнатам отшельнический покой, но не в ее

силах было остановить разрушительный летний свет и его вторжение.

Вечером читали завещание. Оно было написано педантичным почерком и лишено всякой выпренности. Его составительница просила у нас прощения, но Бога, в отличие от принятого в таких документах, не упомянула. Трое суток горели на комодке длинные восковые свечи и потухли на четвертый день. На дом пала вечерняя темень.

Приземистые, бессмысленные дни сковали нас друг подле друга. Отец пил, рвал рукописи, проклинал издателей и свое писательство, от которого не было никакого проку. Мама имела вид осужденного военно-полевым судом.

Так кончился наш последний, долгий отдых.

То было лето 1938 года. Мне было двенадцать, отцу срок три, и никто не знал, что таит в себе время и какие новые испытания оно нам готовит. Мы поспешно уехали из дома покойной, словно нас ждали похороны в другом месте. Поезд на станции стоял там, где мы его оставили, закоптелый на обводах. Рабочие пили в буфете утренний кофе. В сторонке стояла разодетая дама, презрительно следившая за суматошными передвижениями многодетной семьи. Моросил мелкий дождь. Ни единого близкого человека или родной души, все чуждое и чужое. И мы, отец, мама и я, тоже словно осиротели — ни слов, ни ласки. Отец угрюмо затолкал в тамбур наш зеленый чемодан, как намаявшийся носильщик.

И, когда мы вернулись домой, летний свет был немощный и холодный. Мама надела свой красивый зеленый халат, и ее лицо приобрело не по времени рассудительное выражение.

— Я ни слова не сказала тете Густе про Терезу, — сказала мама. — И очень рада, что не сказала.

— Она не спрашивала? — поинтересовался отец.

— Спросила, и я ответила, что все в порядке. Или я плохо сделала?

Лицо у отца снова надулось вокруг рта. Я понял, что в нем поселилось какое-то новое недовольство.

— Не хотелось ее огорчать, — сказала мама.

Мысль о том, что сельский дом, монашески скромный, сейчас на замке и стоит пустой, в саду увядают растения, и старый сельский доктор, проходя мимо, склоняет благочестиво голову, — мысль эта дернула во мне какую-то некую струну.

Отец разнес вдребезги эти тонкости следующей фразой:

— Ненавижу еврейское мещанство. — Я знал, что он имеет в виду дядю Люмпеля и тетю Сирель, замучивших нас своей возней.

Письма Терезы приходили все реже. О себе она не писала больше ничего, только про монастырь и монастырский быт. Из редких ее намеков можно было понять, что в некоторые из мистических тайн она уже посвящена и теперь трудится над другими. Слова, обращенные к нам, стали теперь холодней и были лишены эмоциональной ноты, за исключением подписи: "Ваша любящая сестра Тереза". Отец опять удивлялся точности описаний и подбору эпитетов, а также способности вести речь простым и точным языком.

Отец вернулся к письменному столу, я — к урокам. На повестке дня стояла история, две письменные работы. Комиссия по поощрению литературного творчества постановила провести свои заседания у нас в доме. Это была чрезвычайно корректная комиссия, известная порядочностью своих суждений. Во время последнего заседания обнаружили разногласия, отец пригрозил отставкой и члены комиссии решили отложить итоговое заседание на другое время.

Мама оделась в зимнее платье и отправилась навестить Терезу. Вид в зимнем у нее был странный. От толстой одежды она стала неуклюжей. Мне казалось, что ее все еще угнетает печальный секрет, так и не рассказанный тете Густе, хотя мама все время повторяла: "Я рада, что ничего ей не сказала". Был влажный, противный вечер, и мама отправилась в путь с черного хода.

Помню вечерний свет, как устойчиво и прозрачно покоится он в окнах с двойными рамами. В печи полно жару. Но ярче всего помню я сверток теней, принесенный молодой женщиной и опущенный ею на пол, как складывают вещи тонкие и продолговатые; была с ней еще плетенка, и внутри плетенки младенец.

Женщина сидела в кресле, и тени, которые она с собою принесла, тени первых холодов, дышали возле нее, словно не решались расстаться. Тогда, в слабом вечернем свете, она показалась мне красивой и точно взятой из моих хрестоматий. Ковер крестьянской выделки шел к ее ногам, на коленях отдыхали руки, тоже расслабленные и задумчивые. Малютка в плетенке не плакала. Ее зеленые глазки бегали в узких глазницах. Женщина сидела ссутулившись и не шевелясь. Вечерний свет надолго остановился на округлом ее лице и догорал, точно угли.

Когда отец вернулся домой, уже зажгли лампы. Тени, принесенные женщиной, отступили и залегли по затемненным уголкам и закоулкам. Глазки у младенца закрылись, и он уснул. Отец обрадовался, хотя сначала я не понял причину: оказалось, она приехала из деревни, из его родной деревни. "Просто не верится, нет, не верится!" — восклицал отец. Словно к нему вернулась жизнь, про которую был уверен, что никогда больше ее не увидит.

— И есть еще там люди? — спросил он, переварив неожиданность.

Молодая женщина подняла лицо в каком-то вниматель-

ном недоумении. Отец спросил, стоят ли еще и деревья возле почты. Она опустила голову со стыда.

Отец же говорил и говорил. Мама съеживалась, сокращалась в размерах рядом со словами, которые он извлекал из своей памяти. Звуки его голоса пахли запахом зимы, словно долетали сюда вместе с бубенцами санок. Наконец, и она открыла рот. "Река страшно разлилась. Мост грозит обрушиться", — сказала она. Допоздна они так проговорили. Но паузы стали увеличиваться, и в тишине, повисавшей между голосами, я уснул на своей кушетке.

Когда я встал, по коридору уже пролегал утренний осенний свет. Гудел камин. И пахло молоком, как в доме, которому привалила неожиданная радость. На утреннем свету я увидел, что лицо у женщины все еще удивленное, и недоумение не рассеивается, даже когда она возится с малюткой. Сколько мне лет, по обыкновению всех женщин, она не спросила. Лишь обволокла меня своим взглядом, точно в пух закутала.

— А меня еще помнят? — спросил отец. Ее сомкнутый рот прорезала узкая щель:

— Помнят.

О деревне, где родился отец, я немного слышал в самом раннем детстве. Только в два последние года, а может, еще до этого отец перестал говорить о ней. Теплое воспоминание о деревне иногда набегало на меня, и тогда я просил его рассказов. Но отец уходил от моих просьб и придумывал для меня другой рассказ. Мама прятала мою руку в своей руке, и это было упоительно, как рассказ. Уже тогда вечера были более незамутненно-ясными, чем утро. Может быть, потому, что ночью, перед сном, словам присущ какой-то элемент сна, и они раскрываются и падают, как семена на разрыхленную почву.

Из немногих фраз я узнал следующее: вот уже несколько недель как она ходит, кочует с места на место. Жених слова не сдержал, письма, правда, от него приходили, но без определенного обратного адреса. А деревня как была, так и есть. Евреев немного осталось, почти одни старики. Старые обычаи, однако, управляют и помыкают по-прежнему. Странно, в ней нельзя было заметить никакой обиды, злобы

и подозрительности. Ни слез, ни смеха, лишь что-то вроде недоумения. И вопросы отца звучат теперь тоже удивленно. Закрываю глаза и вижу: деревня. В окнах несколько стариков. Они сердятся на детей, которые их бросили, и горькая эта обида набухла в стариковских глазах, как светлая жидкость.

Отец вернулся к своим обычным делам, в которых он увяз: иудейско-христианское общество собирается расширить свой журнал и хочет назначить его редактором. Первый номер будет посвящен, разумеется, Мартину Буберу. В нашем доме имя Мартина Бубера не сходит с языка. Одни говорят о нем с превеликим пиететом, сравнивая с древними апостолами, другие позволяют себе усомниться в его откровениях. Споры бывают иногда ожесточенные. Куда клонит отец — этого я не пойму никак. Было время, когда и он восхищался Бубером, но теперь уже не то. Ничто больше не вызывает в нем восхищения. Пыл его охладел. На губах поселилась скептическая улыбка. Лишь о Кафке, и только о нем одном отзовется без слова критики, как об истинном провидце. Но кто вообще читал Кафку? Единицы. Люди не любят зловещих пророчеств.

И вот так, среди всех этих высоких материй и мировых проблем как бы повисла Этта с младенцем в плетенке. Принадлежа словно не к этому миру, а к своей гибели, которой она покорила. Никто не спрашивал, что же она будет делать в этом мраке, куда денется. Ее беда зажгла наш дом странным светом. Может быть, из-за ее младенца. Девочка розовенькая и крепышка.

Отец тем временем подал в суд на два журнала. Один отозвался о нем, как о иудейском писателе, сеющем страхи и возведшем слабость в свои герои. Не австрийская, благородная, а чужая кровь течет в его жилах. Второй журнал назвал его евреем, смакующим вырождение. Извиниться журналы отказались. Сначала казалось, что общество сторонников согласия между христианами и евреями поддержит его, но некоторые из главных в обществе лиц посчитали, что не стоит снова заваривать тухлую эту кашу. Напасть сама по себе пройдет. Отец вышел на бой один как перст.

А вечерами, как всегда, сидит черный ворон, доктор Мир-

цель. Шутит шутки и называет отца безнадежно еврейским писателем.

— Не изволите ли объяснить мне, что еврейского в том, что я пишу? — спрашивает отец.

— Страх. Разве это не наследственное, не из поколения в поколение?

— Но разве это не человеческое качество? Или мы уже уподобились животным?

— Да, — роет яму доктор Мирцель. — Австрийцам оно не свойственно, это надо признать.

— Я отрицаю еврейство, которое приписывают мне! — гремит отец.

— Да, конечно, — говорит доктор Мирцель с откровенным скептицизмом.

И так почти каждый вечер, от начала и до самого конца.

И лишь поздним вечером — я уже в постели, не то слушаю, не то нет, — отец, мама и Этта сидят и говорят про ту самую далекую, заброшенную деревню, родину отца и его боль. Тоска пронизывает легкую мою дремоту. Тоска, невидимая, как ночной дождь.

И в одну из ночей обнаружилось, словно мимоходом, что любезный обманщик не кто иной, как еврей, мелкий коммивояжер. Отец взъярился: вот такие они, эти евреи. Свести их под корень! В глазах у него вспыхнул чуждый, охотничий, блеск. Я видел: для отца беда Этты приняла теперь страшный оборот. Он поклялся, что не даст обманщику уйти от суда и публично его опозорит. Этта потупилась, словно речь шла не о ее несчастье.

И для этого предприятия отец нашел себе множество компаньонов: отставной судья, адвокат, провизор и еще несколько торговцев, у которых перестали идти дела. Уже тогда ясно было, что шансов на то, чтобы его разыскать, очень мало, но отец не унимался. Его гнев был сильнее его самого.

И к ночи явились два адвоката за показаниями. Этта принялась рассказывать им про деревню, про тамошние обычаи и про еврея-коммивояжера, наговорившего ей сорок коробов. Странно, но горечи в ее голосе не было. Считанные короткие фразы. Потом сели за стол выпивать и

поносить коммивояжеров и разносчиков, безликих евреев, грабящих сельское население.

Они приходили допрашивать из вечера в вечер. Ее память не была превосходной. Не знаю. Не спрашивала. Стеснялась. Верила ему. Вот весь запас слов, которым она владела. Лицо у нее покраснелось, руки, сложенные на коленях, выражали безучастность.

На лице Этты проступило некое тайное блаженство. Может быть, так только казалось. Из-за улыбки в уголках ее рта. Или поняла, возможно, что розыски напрасны. Или решила про себя, что не хочет его больше. Так или иначе, она его не бранила, даже в минуты, когда от нее словно бы требовалось это.

Шел дождь, и отец снова заговорил о деревне, но теперь без сантиментов, с горькой улыбкой и не щадя. Поздно вечером приходил доктор Мирцель, внося в дом уличный холод и свой гулкий голос. Опять начинался знакомый подтачивающий бред: нечего стыдиться! Иудейский орден не хуже других сообществ. Поверьте мне, есть ордены похуже него.

Я заметил: с лица Этты исчезло бывшее смущение. На щеках появился молодой пушок. Приходившие к нам люди ели ее глазами. Вертелись возле нее с какой-то жадностью. Этта спасалась на кухню, словно к маме под защиту, но и там ее настигали, находя всякие предлоги.

— Этта, — звал отец, — явите нам свое лицо!

И Этта являлась, как женщина, покорная своему властелину.

И порою, когда дом переполнялся веселым отчаянием, отец стискивал Этту, восклицая:

— Вот какие девушки были в нашей деревне! Разве не чудо как хороши?

Мама больше не в силах скрыть свое замешательство; когда она растеряна, на подбородке у нее выступает толстая складка. Этта расслаивается в креслах, и в глазах у нее блестит удовольствие обласканной крестьянки.

Уж больше не рассуждают ни про высокие материи, ни про судебные процессы, в которые впутался отец, а только

пьют да хохочут, и в этом громком смехе я улавливаю какую-то подозрительную неловкость.

И так каждый вечер. Чужие мужчины и чужие женщины. Похоже, что вся причина в Этте. Прокуренные слова и вонь спиртного соперничают между собой. "Жених — забудьте про жениха, здесь есть получше него!" Беда Этты превратилась в странное празднество. Она носит мамины платья и распространяет запах одеколона.

И когда празднующие освобождают дом, мама садится в кресло, разворачивает газету и погружается в чтение.

— Почему ты не ложишься? — слышу я голос отца.

— Я посижу здесь, — говорит мама.

Тени, которые принесла с собой Этта, бродят теперь свободно и куролесят. И музыка не прекращается. Отец изменился: на лбу заплесала разгульная морщина. А я словно исчез из его поля зрения.

И от одной чашки кофе до другой вспоминаю: как проста и чиста была Этта, когда появилась у нас! Словно затем и пришла, чтобы принести нам запах чистоты из забытой родной деревни отца. Но все перевернулось. Все предлагают Этте свою дружбу. Знаю: неспроста эта благосклонность, за ней видны многие другие намерения. Мама плачет, и ее голос стучит в мой сон, как холодная капель.

А сама Этта понимает ли, что происходит вокруг нее? Ее словарь не увеличился. Выговор остался крестьянский, руки складывает на коленях, как женщина, не ведающая соблазнов; и тем не менее вечера превратились в гулянки, гостиную переполняют табачный дым и легкая музыка. Меня рано прогоняют в постель, и это постыдное изгнание долго не дает мне покою.

Материальное наше положение ухудшилось. Мама считает, что нельзя больше звать гостей. Отец вскипает: "Двери нашего дома, пока я жив, будут открыты для людей! Я не для себя живу".

Младенец заболел, и наш домашний врач ходил к нему без конца. Но странно, Этта не обращала теперь внимания на горюшко свое. За девочкой, не без возмущения, ухаживала мама. Злобные слова, каких я дома прежде не слышал, скрежетали среди раскатов смеха, точно карканье ворон.

Несколько дней продолжалась эта буря. Разгульная морщина не сходила у отца со лба. Заполнен был чужим, не свойственным ему весельем. Мама выхаживала больного ребенка; а Этта тем временем, точно светская девица, разливала кофе.

Однажды мама ворвалась в гостиную с ребенком на руках и закричала с дикой обидой:

— Я не допущу этого!

— Я живу не для себя! — прикрикнул на нее отец.

— В доме есть ребенок. Пока ребенок в доме, я этого не позволю!

— Но я позволяю.

Мама напрягла голос, чтобы ее услышали все-все:

— Довожу до общего сведения, что деньги у нас кончились. Мы в долгах по горло!..

Отец вскочил на ноги, и неприкрытый стыд раздел его на глазах у всех. Странно, никто не двинулся, чтобы разнять их или сказать слово утешения. Люди бросились к своим зимним пальто и умчались, как из дома, объятого огнем.

Назавтра Этта закуталась в свой крестьянский платок, взяла младенца на руки и сказала, что идет подышать свежим воздухом. Вечер был светлый и розоватый, точно собственное зеркальное отражение, только холодней. Никто не мог себе представить, что она решила больше не возвращаться. Свет погас, зажглись огни, и внезапно упал мрак.

Отец поздно вернулся с заседания общества и побежал на вокзал. Поезда не застал, опоздав на считанные минуты. Этим поездом она уехала. И, когда он вернулся домой под утро, он не вымолвил ни слова. От него несло спиртом, он был бледен и обессилен.

Отец проспал весь день. Мама стерегла его сон, непрочный и опозоренный, складывала простыни и полотенца. Запах молока, согревавший наш дом несколько недель, отдавал кислой горечью. Оранжевая мгла легла на наше окно и не рассеивалась весь день. Я не осмеливался войти в комнату отца. Как будто там врачи.

Назавтра вторгся в комнаты яркий свет, мебель лишилась своих теней. В печи бездыханно тлела длинная голов-

ня. На маме был зеленый халат. Лицо бледное. Отец стоял у окна.

”Я ведь ненарочно...” — сказала мама. Она попыталась вонзить в безмолвие свой голос. Отец повернул голову и обвел комнату глазами. Затем был подан утренний кофе. Взгляд отца не сходил с окна. Мама съежилась, обхватив чашку обеими руками. Свет резал все сильнее, его лезвия выскребли остаток теней, который еще сохранялся по углам. Углы стояли белые, голые, точно срамное место.

И ночи были длинные, освещенные и пустые. Губы отца стиснули большую горечь. Процессы, в которых он запутался, запутывались все больше и безвыходней. Преходящее воспоминание об Этте по ночам приобретало пугающую реальность. Словно она все еще сидит со своими тенями в углу.

Напрасно мама пыталась придать нашему сиденью за столом видимость прежних завтраков и обедов. Все пришло в осиротелый упадок, даже занавески. Слова, заряженные, немые, бродили в воздухе, как невыговоренные обвинения. Мамино лицо тоже занемогло такой же больной горечью. ”Чего ты хочешь, — сказал ей отец в один из вечеров, — ведь ты прогнала ее”. Мама заплакала, и отец не подошел ее утешить. Я знал: все, что было, не вернется больше, и детство мое тоже.

На потолке появились желтые пятна потеков, и мама не стала искать маляра. Тонкий запах плесени наполнил комнаты удушьем. Мама умоляюще говорила: ”Еда готова!” — но отец предпочитал есть бутерброды, и это придавало его сиденью за столом вид грубой спешки.

Опять зазвучали старые слова. Слова, жившие до появления Этты. Два заказных письма пришли и напомнили, что там, снаружи сражение не закончено, и, хотя истцом по делу о клевете был отец, похоже было, что обвинитель превратился в обвиняемого. Быть может, из-за его лица, небритой щетины и метаний из комнаты в комнату в поисках документов.

Комнаты опустели. Свет ворвался внутрь, словно Этта забрала с собой и наши тени. В задней комнате отец стоит,

изучает текст иска, который он подал, как будто перед ним его собственная вина, и нету ей искупления.

О смерти Терезы мы узнали ночью, случайно, и мама тут же, словно по старой привычке, машинально принялась укладывать оба цветных чемодана, но сразу сообразила, что они не нужны. Расстояние от нашего дома до монастыря св. Петра не требует запаса одежды. "Мы готовы, — сказала мама тем домашним тоном, как в прежние времена, когда мы отправлялись после обеда в кафе "Вышитая роза". "Посмотрю расписание", — сказал отец в припадке прежней деловитости. Печальная весть настигла нас, когда мы совсем не ожидали ее. Неудивительно — движения тела еще продолжали свой привычный бег по инерции.

Последние недели письма от Терезы не приходили, и память о ней, на расстоянии владевшая нами, освободила от себя. О ней я больше не думал, только о высоких березах, которые растут в самой середине монастыря. Иногда я воображал, что все еще стою в вестибюле и рассматриваю тусклую картину с розоватым младенцем, реющим на волнах черноты. Но Терезу я не видел больше. Ее образ растворился во мне. И теперь, при печальной вести, ее юное лицо тоже не заблестало передо мной. Одни березы. Словно в них воплотилась ее жизнь.

Хотя мы знали, что поездов в это время нет, мы поехали на станцию. К нам присоединился скульптор Штарк, друг папиной молодости. Мучительные, загадочные духи терзали в то время Штарка, сына еврейки. Убежища от своих невзгод он искал в самых разных местах, и к нам заявился тоже. Высокий, крепкий, с окладистой бородой. Точно сама прочность. На деле — один лишь вид. Вот уже год как он ходит от

раввина к раввину, из одного иудейского суда в другой. Раввины не оказали ему радушного приема. Его арийская, мощная внешность лишь возбуждала в них подозрения. "На что вам эта беда в такое время", — сказал ему под конец один из раввинов. Его отсылали от одного к другому, но эта волокита лишь разжигала в нем загадочное желание вернуться к родным истокам, истокам матери, которую он обожал, и прилепиться к вере ее, точнее сказать, к вере ее предков.

Отец великодушия не обнаружил, благожелательности не проявил и даже отругал: "На что вам, Курт, эта беда в такое время. Еврейство, поверьте, не в состоянии ничего дать ни вам, ни мне. Его просто не существует. Оно давно бы исчезло, если б не антисемиты". Мама в разговор не вмешивалась.

И вот, когда каждый был совершенно поглощен своим, к нам пришла печальная весть. Станным был наш дом в ту ночь. Словно спустился на него густой туман. Мама стояла в дверях. Одетая скудно, обутая в сапоги. Неподобающей обстоятельству была и деловитость отца. По-видимому, ужасная растерянность погнала его предпринимать какие-то действия. Один скульптор Штарк не растерялся. Он пытался защитить нас обеими своими огромными волосатыми руками.

На вокзал мы шли пешком. Остановить извозчицью пролетку или пойти кратчайшим путем — это отцу в голову не пришло. Мы прошли весь Габсбургский бульвар. Мама шагала впереди. Отец рассказывал почему-то об имениях монастыря св. Петра, где в молодости уединенно жил у одного просвещенного аристократа, человека странного, с либеральными наклонностями. Там он впервые открыл для себя чары австрийского горного ландшафта. Только что-то в нем самом не позволило погрузиться в эту спокойную красоту, не иначе как уже тогда копошился в нем микроб еврейства.

О Терезе не говорили. Как если б она уже не имела никакого отношения к этому моменту. Скульптор Штарк в конце концов осмелился и спросил, сколько лет она провела в монастыре. И отец рассказал, что поначалу она там

находилась в клинике, из-за частых депрессий, однако со временем обрела глубокий интерес к монашескому образу жизни и теологическим беседам, которые там устраиваются по вечерам.

— И что же вы? — нерешительно поинтересовался Штарк.

— Она была счастлива, по-видимому, — сказал отец.

Мама шла впереди нас ровным шагом. На улицах не было ни души, одна осенняя сырость. Долго мы шли, и вдруг к отцу вернулся его прежний голос. Он говорил о необходимом художнику взгляде на вещи, спокойном, без одержимости — вне такого взгляда нет большого искусства.

Туман сгущался, и мы добрались до станции. Время было уже после полуночи. Сырая пустота поблескивала из всех углов. Две молодые женщины молчали, облокотившись на стойку буфета. На их лицах была написана мрачная тупость. Отец подошел к закрытым кассам и, удостоверившись, что они действительно закрыты, проговорил в нашу сторону: "Надо узнать. Наверное, есть еще поезда. Район тут не без людей и не без торговли".

Ответ дежурного последовал незамедлительно. Поездов нет. Лишь под утро проходит местный товарный поезд.

— Ну и что, — сказал отец. — Погостим у лошадей. Мы животных не боимся.

Тут кто-то из сторожей, стоявших вдали от нас, произнес следующее:

— Запах австрийских лошадей приятней запаха евреев.

На момент все стихло. Трясущиеся руки мамы перестали дрожать. Скульптор Штарк повернулся в сторону голоса и крикнул:

— Где вы прячетесь, неизвестный человек? Почему вы нам не показываетесь?

— Вам не стоит его дразнить, — сказал станционный смотритель, — он человек буйный.

— Образа человеческого мы, во всяком случае, еще не утратили, — сказал скульптор Штарк. — Мы готовы драться.

— Слова не стоят ссоры, — сказал смотритель. — Оставьте его.

Странно. Цель нашего прихода сюда словно позабылась. Было уже за полночь, и мама предложила пройтись и,

может быть, попить кофе в "Вышитой розе". Скульптор Штарк сказал, что он-то как раз не прочь подраться, но что делать, если тот – трус и прячется в темноте. Громкий голос Штарка вселил в нас уверенность.

Мы обогнули бульвар и на некоторое время оказались в открытом поле в сплошном тумане. Скульптор Штарк хохлился в своем пальто. И, хотя мы двигались теперь в сторону "Вышитой розы", мама не переставала убеждать нас, что кофе там крепкий и свежий, и пирожные тоже свежие, как домашние, лучше места в такой час не найти. Не мамин был голос – тень уцелевшая от иных времен.

"Вышитая роза" была открыта. Поодаль друг от друга несколько посетителей потягивали за деревянными столами полночное пиво. Пьяных не было, стоял лишь тяжкий пивной дух. Скульптор Штарк внезапно принял чрезвычайно бодрый вид и с широким жестом, неуместным, пожалуй, в этот час, объявил:

– За мой счет, господа, за счет потомка от смешанного брака.

– За сколько вы мне уступите австрийскую чечевичную похлебку?

– Унцию австрийского мяса даром отдаю.

– Вы еще пожалеете об этой сделке.

Отец со скульптором Штарком заказали коньяк, нам с мамой принесли кофе с молоком. Официантка погладила меня по голове:

– Милый мальчик. Меня не брали ночью в кафе. Не беда. Узнаешь жизнь.

– А вы, милочка, когда вы впервые познакомились с ночной жизнью? – игриво спросил отец.

– Очень поздно, у меня родители истые католики. За порог не выпускали.

– И вы это выдержали?

– Недолго, если сказать по правде.

Скульптор Штарк в разговоре не участвовал. Его лицо выражало ощущения от выпитого коньяка. Внезапно, с детской пронизательностью, я почувствовал теплую близость, которая связывает нас и скульптора Штарка. Словно

не мимолетный это гость, а родная душа, много лет делившая с нами нашу жизнь.

Мама рассматривала нас в упор. Я не мог понять выражения ее глаз. Между нами встала теперь тонкая, прозрачная, но непроницаемая перегородка. Руки ее нескрывтно лежали на столе.

Я снова стал думать об этом удивительном явлении по имени Штарк, о странных его скитаниях и той загадочной мании, которая мучает его в последние годы; и теперь он сидит с нами, влачасть навстречу смерти тети Терезы. Он ее не знал.

”К чему вам эта беда в такое время, — слышу я голос отца. — Ума не приложу. Выше моего разумения”. Скульптор Штарк проглатывает этот голос молча. А отец — его мучает другая дьявольщина, ужасная: его писательство. В последнем году журналы перестали причислять его к австрийским писателям. До этого намекали на его еврейское происхождение. Теперь прямо пишут о чуждых элементах, бациллах декаданса, рассеянных во всем, что выходит из-под его пера. Читать эти писания запретно всем, в ком есть здоровый дух. До этого отец провозглашал приоритет свободного самовыражения над всем другим. Своими жалобами, судебными процессами и кассациями он кормил немалое число адвокатов. Теперь отец стиснул зубы и обвиняет себя самого, свое творчество, из которого ничего путного не вышло — потому что не поучился у французов. Только им известно то правильное, невозмутимое спокойствие, без которого всякая литература дидактична или сбивается в лишенную корней фантастику. Посему готов он признать, что ни он, ни Вассерман, ни Цвейг, ни даже Шницлер не достигли действительных высот в искусстве. Странно — теперь, когда у него уже нет денег, чтобы привлечь к суду газеты и журналы за клевету, он сидит и возводит поклепы на самого себя. Очень горькие эти самообвинения.

— Еврейский разносчик, слоняющийся по улицам Вены, для меня прекрасней австрийского кадета, — бывало, скажет скульптор Штарк.

— Не говорите, о чем понятия не имеете, — отвечает отец.

– Буду, потому что вы не знаете австрийцев. Я вырос в военном училище.

– А вы, мой друг, евреев не знаете. Если бы вы их знали, вы не были бы так счастливы к ним примкнуть. В душе они мещане. И искусство у них мещанское.

– А австрийцы? Что собой представляют австрийцы? Мне они отвратительны!

И вот посреди этих распрей пришла печальная весть, что тетя Тереза, самая красивая из моих теток, скончалась в монастыре св. Петра. Отец сделал очень странную гримасу и встал, словно собираясь затворить открытое окно. Мама обмякла на своем кресле и тотчас принялась за сборы.

Я очнулся от своих мыслей и увидел: кафе опустело. Скульптор Штарк посерел лицом от количества выпитого коньяка. Лицо отца раздурманилось, словно впереди не порог смерти, а преддверие чего-то, полного ликующего отчаяния. Ко мне подошла официантка:

– Не устал, мой милый?

– Нет.

– Какой ты счастливый, что твои родители берут тебя и в веселые места. Ты меня когда-нибудь вспомнишь?

– Конечно, вспомню.

– Эльза мое имя. Я, наверное, буду здесь еще работать. Твои родители очень симпатичные люди.

Странно. Никто не помешал этому разговору. Отец глядел на меня с явным удовольствием, оттого что я уже способен не стесняясь вести подобные беседы.

Мама встала с места со словами: "Времени четыре утра". Я подивился такой ее деловитости в этот час.

Бульвар и ближние поля затянуло плотным туманом. В потемках шарили блуждающие огни. Мама повела нас на станцию кратчайшим путем. Тут я вспомнил долгое ночное странствие, когда мы везли тетю Терезу в санаторий, только тогда было лето, светлое и не омраченное.

Возле буфета теперь было пусто. Сквозь два его запертых грязных оконца виднелся беспорядок внутри: стаканы и бутылки.

– Где поезд? – мощно закричал скульптор Штарк. Коньяк, как видно, зарядил его голос.

Ответа не последовало. На мамином лице расплылась невнятная улыбка. Словно не моя мама, а одна из несчастных женщин, обремененных детьми, настолько привычная к болям, что новая боль лишь слегка кривит ей губы.

— Где поезд, кондуктор? — снова загремел Штарк.

Кондуктор высунул голову из окошка своего наблюдательного пункта:

— С чего вам в голову взбрело прийти так поздно?

— Нам сказали, что в пять здесь проходит товарный. Разгружать будут или грузить?

— Поезд товарный, а не пассажирский.

От странной уверенности скульптора Штарка у нас исправилось настроение. Почти ночная авантюра — если б не мамино лицо.

В пять утра пришел поезд. Штарк вскарабкался к машинисту и рассказал ему, что наша родственница, тетя Тереза, родственница близкая и молодая, умерла ночью в монастыре св. Петра. Он говорил громко, выделяя каждое слово, чтобы его можно было услышать за шумом пара. Вниз это слетало, как жестокая декларация. Перемазанный сажей, усталый машинист в разговоры пускаться не стал, только вымолвил:

— На вашу ответственность.

— Садитесь! — скомандовал Штарк.

Мы еще взбирались по сходням, как подошел один из проводников и остановил нас. Штарк сначала попробовал растолковать, сдержанно, почти шепотом, что речь о семье, которая находится в трауре и которую постигло несчастье — умерла в монастыре св. Петра одна из самых близких и молодых родственниц. Известие об этом пришло лишь несколько часов назад.

Проводника это, по-видимому, тронуло, но вдруг возник, как нарочно, другой проводник, заспанный, и объявил, что его больше не проведут. Он их хорошо знает: это евреи. Он говорил это своему напарнику, стоявшему на входе, не обращая внимания на наше присутствие. И проводник на входе, нерешительный было поначалу, принял решение и сказал, что он не позволяет. Штарк, в напряжении, но державшийся

пока очень спокойно, шагнул к проводникам вплотную, как бы демонстрируя свой рост. Это не помогло.

— Садитесь! — скомандовал Штарк.

Второй проводник, не ожидавший, по-видимому, такого оборота, заорал в сторону кондуктора: "Евреи садятся самовольно!" — "Не говорите "евреи", скажите "люди", — шепотом сказал Штарк. Сказанное, как видно, привело второго проводника в ярость. Он проговорил: "Я постою за свою честь", и снял шинель. Штарк извлек из кармана правую руку и элегантно почти взмахом саданул проводника по физиономии. И тут же довел до сведения с каким-то палящим спокойствием: "Кулак — австрийский, чисто австрийский. В кадетской школе приобретен, школе имени генерала Лунца, если говорить точно". Результат этих действий оказался самый наглядный: второй проводник лежал на полу, проводник на входе отступил вглубь вагона, кондуктор закричал обоим из своего окошка:

— Чего привязались к честным людям?!

— Тут нет никакой ошибки. Они евреи! Клянусь всем святым!.. — вопил второй проводник.

Локомотив меж тем выдохнул клубящийся пар. Мы взобрались в вагон с чувством, что справедливость все-таки берет верх над идиотизмом, если ее немного подкрепляют силой.

Суть поездки словно позабылась. Штарк рассказал несколько эпизодов из быта того самого прославленного заведения, которое называется кадетской школой имени генерала Лунца и где из маленьких, хилых в большинстве существ куют мощные тулова, лишённые собственной воли. Он пробыл там целых четыре года. Не имея он несколько беспокойных нервов и не увидь он несколько отвратительных сцен, он теперь, без сомнения, служил бы в прославленном 52 полку, отличаясь по службе и повышаясь в чинах.

Загадка скульптора Штарка увеличилась в моих глазах еще более. Товарный состав катил не спеша. Холодный ветер полей продувал наши пальто. Мама посчитала необходимым извиниться и сказать, что, хотя в нашей фамилии бывали отступники, даже отступники известные, крестились

они, в конечном счете, не из убеждения, а под давлением обстоятельств.

Я знал: это не совсем верно. Я промолчал, и отец тоже не поправил маму. Горе, я чувствовал, увело маму от ее правил. Вокруг сгустился тяжкий предрассветный мрак. И мы погрузились во влажную вату тьмы.

Примерно через час мы уже стояли на старинной, не в меру помпезной станции св. Петра. Несколько грузчиков таскали из вагонов мешки, на станционном въезде заброшенно торчала телега с оглоблями, раскинутыми по земле. Несколько розовых вен проступали на горизонте.

Ворота монастыря, забранные узорными решетками и бурой листвой вьющихся растений, были на замке. На стенах старинных зданий еще лежала ночная мгла. Вокруг царил предрассветный мир и покой.

Занялась заря, и тишину сотряс одинокий звон колокола. Бессмысленное стояние у запертых ворот совсем не распяляло нашу скорбь. Мы были изнурены ночной усталостью.

— До семи не откроют, — сказала мама, словно ей были известны потайные пути в этих стенах.

— Почему так? — поинтересовался Штарк.

— Отпирают только после молитвы — постороннее присутствие мешает молящемуся сосредоточиться.

Казалось почему-то, что мама осведомлена о многих подробностях и секретах монастырской жизни. Она с симпатией говорила об этом. Слово хотела прильнуть душой к последним мыслям Терезы. "Есть у них, надо признать, некоторые явления подлинной религиозности", — сказал отец, пытавшийся как-то скрасить это бессмысленное стояние. Эта фраза немедленно возмутила усталость скульптора Штарка:

— Конечно, — заметил он. — Для того, кто их не знает.

Ворота отперли в семь утра. Мама попросила позвать сестру Викторю. Привратник отправился за ней.

Высокие стены, картины и статуи на мгновение окунули нас в свою редкую сумеречность. Вход сюда, мы знали, запрещен без сопровождения сестры, даже в случае несчастья.

Сестра Виктория вышла к нам со свитой монахинь, и маму тотчас окружили, безмолвно, но не без мелких церемоний. Как видно, такой у них обычай, когда к ним приезжают родственники умерших. О дальнейшем мама не спрашивала, словно ритуал уже на полном ходу.

Мы немедленно обнаружили себя на монастырской площади, которую обогнули, затем зашагали по коридорам, где свет чередовался с тенью. Не смерть тут присутствовала, а гипнотическое спокойствие, увлекавшее наши ноги за собой. Никто не сбился с твердого своего шага и когда подошли к месту для скорбящих, тесной нише, полной курений и украшенной множеством венков. У гроба сидели две старые монахини. Они не шевелились.

Лицо Терезы в гробу было покрашено густо-розовыми румянами, шею обвивала коса. Молодость ее истекла непорочной. Руки, тоже убранные, были сложены на груди. На опущенных веках лежал покой. Мама приблизилась к гробу, слегка наклонив голову, как рассматривают младенца в колыбели.

И пока мы недоумевали, что будет дальше, монахини у гроба вдруг заговорили молитву, произнося слова со скорбной монотонностью. Мама не заплакала, только лицо у нее сморщилось, как от кислого.

И, когда кончился обряд, мама повернулась спиной к гробу поспешным, безучастным почти движением и устала на монашку Викторю, будто она, монахиня, родственница покойной.

— Она отошла с миром, — сказала сестра Виктория.

— Скоропостижно?

— Без всяких попутных симптомов.

— Господу Богу благодарение мое, — сказала мама.

И не было больше никакой необычайной мимики или звука, режущего слух, только ощущение достойного ритуала, сочлененного из миниатюрных кусков, превосходно подогнанных друг к другу. И, потому что обряд так кончился, все заволочлось каким-то удовлетворением, которое охватило и нас. Мы вернулись к выходу из монастыря. Мама шепотом спросила сестру Викторю, не нужна ли

какая-нибудь помощь. На лице монахини выразилось облегчение, когда она услышала этот вопрос.

— Все устроено, — сказала она.

— Нам надо идти, — сказал отец. Как если б нас ждало дело в другом месте.

— Я уже иду, — сказала мама.

— Как вам угодно, — осторожно сказала Виктория.

Я вспомнил, что и мой дядя Карл, в честь которого затем была названа солидная литературная премия, тоже преподнес сюрприз семье, когда завещал свое тело науке. Его последнюю волю почему-то не выполнили и сожгли его труп в крематории; и назавтра устроили скромную церемонию со стихами и музыкой перед урной с пеплом.

Мы ушли, не спрашивая, где и когда состоятся похороны. Отец со скульптором Штарком вели маму под руки. По ней заметно не было, что она нуждается в такой опоре.

Возвращение домой было не менее странное. На станции скульптор Штарк опрокинул несколько рюмок коньяка, перебрав, по-видимому, окончательно, и тотчас принялся ерничать, перейдя на австрийский диалект и уснащая речь словечками из жаргона кадетской школы. Отец, который поначалу был рад и такому способу исправить настроение, вскоре забеспокоился, как бы не вышел скандал. Мама тоже пыталась упросить Штарка, чтобы он не делал этого на публике. Выручил нас экспресс, который подошел в положенное время.

Всю дорогу Штарк не переставал поносить австрийскую армию. Лицо у него было бледное, но решительное, исполненное какой-то непонятной силы. Отец предотвратил в дороге несколько драк и стычек, убеждая не обижаться на пьяного, который не отвечает за свои действия. Штарк был пьян, но признать это не соглашался.

Дома мама поспешила накрыть на стол. Хмель у Штарка слегка выветрило, однако отец решил, что его надо напоить крепким кофе. Мама, найдя в этом занятие для себя, выполнила задачу, действуя механически и с церемониальной важностью. На обед мама подала колбасу и яйца.

Штарк перестал клясть австрийскую армию. Он рассказывал анекдоты про своего отца, который много лет про-

служил в австрийской армии в младших офицерских чинах и, выйдя на пенсию, имел обыкновение отдавать команды самому себе, как будто перед ним была построена рота.

После обеда Штарк отправился в свой путь к раввину Вейлеру. Отец, который считал его усилия вернуться в лоно еврейства совершеннейшей глупостью, не стал на сей раз задевать его.

Мертвенность и вечером не освободила все мамины движения. Отец сидел в гостиной, листая книгу. Дом был погружен в абсолютную тишину. Под конец мама спросила, не приготовить ли ужин, только эти слова вымолвила; кроме них ничего.

После ужина мама разулась и села на пол. Неподвижное лицо ее словно прозрело. Отец попробовал удержать ее от этого поступка, но мама сказала, что ей хорошо так, на полу.

На шее у меня висел тогда экзамен по алгебре за первую треть года. Тяжелый экзамен, я понятия не имел, как выбраться из него добром. Отец попытался решить несколько задач вместе со мной, стараясь изо всех сил. В конце концов он порвал черновики и проклял это абстрактное занятие, от которого нет никакого проку. Мама, сидевшая на полу, наблюдала за нами украдкой.

Между тем отец уснул в своем кресле. Мама закрыла глаза, прислонив голову к столбу. Неглубок был их сон, словно преклонили головы перед холмиком-тенью. Я приволок два одеяла и укутал их. Они спали шевелясь и ворочаясь, каждый своим сном, и я оказался на время выброшен на забытый берег.

На следующий день все углы в доме будили память о смерти Терезы, мама не встала с пола, и отец подал маме чашку кофе, опустившись перед нею на колени. Я заметил: на лбу у мамы за ночь появилось желтое пятно.

И, когда я возвратился из школы домой, скульптор Штарк уже восседал в кресле на своем месте, жизнедеятельный и слегка хмельной. Он рассказывал веселой скороговоркой, какой чудесный человек раввин Вейлер и как он проходит с ним Библию и Мидраш. Его пылкость совершенно не увлекла отца, который мимоходом обронил, что та-

кому снадобью не воскресить его сухие кости. Как видно, скульптор Штарк прослушал это замечание, потому что продолжал рассказывать дальше с растущим восторгом.

Траур у нас не заканчивался. Маленькие ссоры отца с скульптором Штарком обострились. В один из вечеров, когда я сидел за латынью, а мама у платяного шкафа чистила вещи от нафталина, я услышал, как отец начинает греметь: "Ничто не воскресит эти призраки. Они осуждены на гибель". Теперь смерть Терезы присутствовала во всем, даже в домашней утвари. Все движения мамы были чрезвычайно осторожны и направлены к цели, известной ей одной. Меня эти движения пугали.

Однажды вечером скульптор Штарк, высокий, худой, пришел и объявил нам, что раввинат в соседнем Шмидене, собравшись на специальное заседание, испытал намерения скульптора Штарка и его знания и пришел к заключению, что теперь ему разрешается ехать в Вену в госпиталь и подвергнуться там обрезанию. В доказательство он достал из жилетного кармана маленькую записку, опечатанную квадратной печатью.

Отец не обрадовался. Наш стесненный траур съезжился еще больше. Напрасно пробовал Штарк заразить нас былой своей уверенностью. Скорбный холод окутал нас безмолвием. У мамы глаза были налиты, студнем застыло в них горе.

Долго никто из нас не нарушал молчания. Наконец, отчаяние отца взорвалось, и он заговорил про неизлечимые свои литературные недостатки. И снова французы. Лишь французские мастера, бесстрастные, Стендаль и Флобер, лишь они были художники. Мы годимся на рифмачество и фельетоны. По-видимому, отец чувствовал, что горечь грозит утопить его в многословии, и схватился за бутылку коньяка, как за якорь спасения; и с горя воскликнул с надрывом необычайного сочувствия:

— К чему вам, Курт, эта беда! Вы же свободный человек. Вся ваша фигура сама свобода. Ваше художественное наследие — это наследие свободы. Ваш отец, коренной австриец, оставил вам земли, здоровье, руки, созданные для тесания, а вы собрались променять эту свободу, это здоровье на ста-

рую, больную религию. Пощадите свою свободу, пощадите свое тело, не изуродованное никакими дурацкими увечьями. Выбросьте из головы ваши дурные мысли! Вы мне дороже брата!..

Мама встрепенулась и встала, чтобы остановить это словесное кровоизлияние. Но охмелевшему отцу удержу никакого не было:

– Пожалейте свои драгоценные руки, руки, знакомые с мрамором и гранитом! Зачем позволять раввинам ставить увечье на вашем прекрасном теле!..

Штарк не прерывал этот поток слов. Верхняя его губа дрожала, и какая-то невнятность плясала по лицу. Речь отца дышала силой, чуждой силой. Штарк не отвечал. Глаза его остановились на пьяных руках отца. Взгляд его позеленел, но горечи не было, в нем угнездилось уже иное знание.

Назавтра в семь утра мы провожали его на станции. Лил дождь, и на въезде сгрудились солдаты, грузовики и рабочие лошади. Отец не отпускал руку скульптора Штарка и все время сетовал на то, что мы не захватили дождевиков. Этой бессвязной болтовней мы и простились с ним.

Домой вернулись промокшими. Станный вид имел отец, босой, в нижнем белье, ругающий расписание поездов. Мама тоже стояла на холодном полу босиком, пальцы красные. Внезапно отец хватил себя по голове:

– Зачем я позволил ему уехать! Это ж преступление! Озноб берет, как подумаю, что они собираются с ним сделать.

Никакой силы в этих словах не было, одна голая боль.

Отъезд Штарка не давал нам больше покою. Отец бродил из комнаты в комнату, как по клетке, повторяя себе под нос: "Зачем я его отпустил?" Стесненный наш траур смешался со злостью. И, от одной сумеречности до другой, отец садился писать письма, напоминания – письма экстренные и письма заказные старым его издателям, которые перестали присылать ему счета. И, так как никто из них не утруждал себя ответом, отец большую часть времени проводил в стоянии перед окном, бесясь, скрипя зубами, сжимая кулаки от негодования.

Ветер утих, и мы отправились навестить Штарка. Отец на следующий же день после его отъезда порывался поехать отговорить от его намерения, собирался даже его родных поставить в известность, пускай и они вмешаются, удержат от сумасшествия. Однако на всем была еще печать смерти Терезы. Мама сидела на полу, отказываясь от еды, и отец стоял над ней и то угрожал, то умолял ее встать.

Как Штарк уехал, так зарядили сильнейшие дожди. Мама не плакала. Ушла в себя. Не разговаривали совсем, а если и говорили, то единственно о Штарке и о варварских обычаях, которые требуют от человека жертвовать куском плоти.

Теперь ветер поутих, и мы отправились на розыски Штарка. Отец оделся по-спортивному, мама напялила на себя грубую шерстяную кофту; отец в таком же примерно одеянии ездил судиться с клеветниками. Дорогу мы одолели быстро и в полдень уже оказались у входа в дом.

Внешний вид здания свидетельствовал о том, что некогда

оно знавало лучшие времена. Несколько стариков, закутанных в одеяла, сидели у парадного входа, пытаясь отогреть кости на холодном солнце. Отец спросил, и они подтвердили, что перед нами приют имени Ицля Готтесмана. От холода ступени казались запущенными и стертymi. Штарка мы нашли в коридоре вместе со стариками. Полутьма удушливо пахла лизолем и лекарствами. Криливо перешучивались две санитарки. Внезапно лицо отца исказилось гримасой отвращения. Мама подле него съежилась, точно там шло богослужение. На полках мерцало несколько свечек, у которых в самом деле был вид культовых свечей.

Штарк простер к нам обе руки от радости. Лишь подойдя вплотную, мы увидали, как он изменился. Лицо покрыла серая борода, поношенная ермолка на макушке, на груди — *талит-катан**. Лишь в глазах у него еще поблескивал знакомый огонек. Отец ужаснулся, вымолвил в изумлении: "Не понимаю!" и стал смотреть мимо Штарка, изучая полутьму, словно хотел там поймать взгляды ответственных за содеянное.

Все вокруг было погружено в этот жидкий мрак. Несколько стариков лежали на кроватях, некоторые играли в карты при свете керосиновой лампы. Взгляд отца им был, по-видимому, неприятен, и они отворачивались.

Штарк сообщил извиняющимся тоном, что все у него обошлось легко. Бритая голова и поношенная ермолка делали его похожим на политического заключенного.

"Вот как все обернулось", — отец едва смог сдержаться. И Штарк, как видно почувствовав сдержанную злость, сказал умиротворяюще: "Это не так ужасно, как кажется. Здесь есть преданные люди". — "Это я себе могу представить", — сказал отец, спохватившись, кажется, что сделанного не вернуть.

Мама сидела на пустой постели рядом с кроватью Штарка, не сводя глаз с восковых свечей. Наш приход произвел, по-видимому, определенное впечатление. "Штарка пришли проведать!" — крикнула одна из иноверок в сторону кори-

* Прямоугольник из ткани, который ортодоксальные евреи носят под одеждой.

дора. В ответ на это известие зазвучал молодой смех и разлетелся тонкими осколочками издевки.

Мы еще не опомнились от замешательства, как к постели приблизился старик из торгового сословия, судя по костюму в полоску, и отвесил отцу церемонный поклон.

— Извините меня, пожалуйста, что я позволил себе беспокоить вас. Но с беды, как говорится, взятки гладки. Не так ли? Я здесь против своей воли, — сказал он тоном несколько театральным.

— Как же так? — сказал в изумлении отец.

— Меня сюда привез сын под тем предлогом, что атмосфера здесь еврейская. Еврейской атмосферы, как вы сами можете заметить, здесь полно, прямо-таки навалом: грязь, злоупотребления дельцов. Только лечение отсутствует. Врач приходит раз в неделю, и то не всегда. Санитарки заняты, мягко выражаясь, своими делами.

— Почему же вы не уходите отсюда?

— Меня лишили свободы. Сын отказывается вернуть мне свободу. И с тех пор, как он отнял у меня свободу, я не могу отсюда уйти.

— Почему он это сделал?

— Причину от меня скрывают. Чтобы наказать меня, если мне дозволено высказать догадку.

— Неужели не нашлось более подходящего места?

— Представляю себе, что имеются места получше, но, от великой ненависти к отцу, сын повернул дело так. Сделал все, чтобы я очутился здесь — здесь, а не в каком-нибудь другом месте.

— Чем я могу быть полезен?

— Не знаю. Я был торговцем. Торговцем с достатком. Ко мне и торговцы хорошо относились, и покупатели. Никогда я не добивался почестей. Воздерживался, если говорить правду, от всякого соприкосновения с евреями. Они всегда мне были не по душе.

— Может, сын привержен к иудейской вере?

— С чего вы взяли? Он женат на иноверке.

— Не понимаю, — сказал отец, разведя руками.

— И я не понимаю. Не считая его желания лицеизреть, как отец на склоне дней валяется в еврейском приюте.

Старик выпрямился и, ничего не прибавив, двинулся к передней двери. Но тут же передумал и сказал:

— Вы уж не обессудьте, что я вас потревожил своим делом. Не обессудьте! Горе людям рассудок мутит.

Слабый свет, сочившийся из верхних окон, усилился и как прожектором осветил кровати, выстроенные в длину двумя тесными рядами. От мощной и волосатой физиономии Штарка остались лишь белизна кожи, несколько розовых пятен, да светлая родинка на лбу. Отец схватился за спинку кровати двумя руками, и глаза у него все время перекатывались вдоль освещенных полос коридора.

— Человек прав, — раздался голос, — уход здесь ниже всякой критики. Нас тоже провели. Чего только не обещали, а теперь в обед даже супа не дают.

— Кто здесь ответственное лицо? — загремел отец.

— Администратор, — ответили изнутри.

— И врачей здесь нету?

— Лишь иногда, но не регулярно.

— Я хочу видеть ответственного, — сказал отец и направился в ответвление темного коридора.

Опять померк свет. Огоньки свечей сеяли по стенам темные круги. Мама почему-то спросила Штарка, не нуждается ли он в чем-нибудь. "Есть все. Я учусь ходить на моих новых ногах. Уже принимал участие в "миньяне" и присутствовал при чтении Торы, вечером будет урок Священного Писания". Мама благочестиво кивала головой.

Вокруг не было ровно ничего, что связывалось бы с представлением о прекрасном, ни одного лица, на котором можно было бы прочесть религиозную сосредоточенность. Во всем сквозили скрытая издевка, подозрительность, злорадство какое-то. Те, что на постели дулись в карты, подобрав под себя ноги, пили теперь кофе из маленьких чашек и задирали друг друга месивом невнятных слов, звучавших, как ругань.

Мама еще искала сказать что-нибудь, как послышался громовой голос отца:

— Где здесь ответственное лицо, где оно?!

Гром его голоса повис, не встретив ответа. Передние окна потускнели, с потолка набежала вязкая мгла, огни

свечек, горевших на полках, вытянулись в разные стороны. Никто из сидевших на кроватях не пошевелился, игра была в самом разгаре.

— Где здесь ответственный, я спрашиваю! — возник снова громовой голос отца.

— Он еще ищет его, — проговорил старик и кинул на одеяло карту.

— Если ответственный сейчас же не появится, я подам жалобу в министерство здравоохранения. Это общественный скандал!

Угроза не произвела впечатления. В дверях на свету отец имел несколько вздорный вид в своем облегающем спортивном костюме. Он двинулся к кровати, к картежникам. Те глянули на него:

— Не нашли?

— Нет.

— Еще заявится. Спешить некуда.

— Разве канцелярии тут нету?

— Кажется, есть. Но зачем вам канцелярия?

— Я хочу видеть ответственного.

— Появится, не волнуйтесь. Даже если задержится, придет все равно.

— Что тут за учреждение? — вдруг спохватился отец.

— Он спрашивает, что тут за учреждение, — заметил игрок своему партнеру.

— Тут еврейская богадельня, приют. Неужели вы не знаете про такое учреждение? У него очень почтенный возраст. Или в Австрии это не известно?

— И чем тут занимаются?

— Объясните господину, чем тут занимаются.

Поглощенный игрой партнер проговорил, не поднимая головы:

— Чем тут занимаются?.. Чем тут занимаются... Занимаются тут покером, что совсем не вредно, даже для таких, как мы.

И тут, пока они вот так перебрасывались словами, с нарочитым смирением, нарочито равнодушным тоном, вырос на главном входе высокий человек, одетый во все черное, с внешностью гордого бедняка.

— Вот он, вы ведь хотели беседовать с ним, — промолвил тот же игрок, все так же не сводя глаз с карт, как говорят, чтобы отвязаться наконец от приставаний.

Тут же, с поспешностью, которая свидетельствовала скорей о растерянности, чем о большой уверенности в себе, отец обратился к вошедшему:

— Вы — тот, кто несет ответственность за это место?

— Кого вы ищете? — сказал высокий человек, который, казалось, был ослеплен резким переходом из света в потемки.

— Я ищу ответственное лицо.

— Это я, — сказал человек.

— В таком случае, я вам заявляю: это общественный скандал. Здесь конюшня, а не общественное заведение. Я подам жалобу в министерство здравоохранения.

— Зачем сердиться, — сказал человек спокойно.

— Вы тут несете ответственность.

Глаза у старика расширились. Ни малейшего недовольства, лишь широкая наполненность взгляда, который потек по коридору во всю его длину, прекращая мелкую возню на кроватях.

— Что вы хотите от раввина? Он вам ничем не обязан, — вымолвил один из игроков тоном, каким обращаются к буйным людям.

— Я требую объяснений!

— Кто вы такой? Не соблаговолите ли отрекомендоваться? — уколол другой картежник.

— Я австрийский гражданин. Или этого недостаточно?

Просторный взор раввина обнимал теперь всех находившихся вблизи от входа. Затем остановился на отце, как бы говоря: "Зачем вы нам досаждаете так тяжело и упорно?"

— Что вы сотворили с этим человеком?! — закричал отец странным, театральным, дурным голосом, указывая на Штарка.

— Оставьте раввина в покое, не мучайте его, — послышалось из глубины коридора.

— Вы все мне не интересны. Смотрите, что вы сотворили с большим художником. С большим скульптором. С человеком, рукам которого нет цены!

— Оставьте раввина. Он никому не причинил ничего дурного.

— Нет, не оставлю!

Эти последние слова зажгли пожар. Из темноты спальни выкатились, точно рой сердитых ос, тощие люди и движением своих тел, в котором было больше гнева, чем физической силы, принялись выталкивать отца вон.

Разбросав руки, отец уцепился за выступ стены. Они застонали, сомкнувшись вокруг него сплошной черной массой:

— Вон!..

— Пожалуйста, мы все тут евреи, — пытался образумить их раввин. По-видимому, он имел над ними власть, однако не абсолютную. Они не унялись и дружно подталкивали отца к выходу.

— Господин раввин! — закричала мама. — Неужели и в святом месте бьют людей!..

Злоба лишила отца всех его манер, он орал:

— Ничего мне от вас не нужно! Мне нужен только скульптор Штарк, запутанный вашими темными наваждениями. Только он. Вы не интересуете меня!

— Молчите!

— Постыдились бы!

— Ассимилированный отступник!..

Одним махом, свидетельствовавшим о его атлетических ногах, Штарк взмыл из постели и забрал руку отца в свою руку:

— Это известный писатель. Один из самых известных!

— Он раввина оскорбил! Пускай оскорбляет нас. На то есть достаточно хороших резонов — но чтобы не смел оскорблять раввина!..

— Не умышленно ведь, — пытался заступиться Штарк.

— Пусть просит прощения раз так. Пускай повинится перед раввином. Нам его извинений не надо, ничто нам уже не поможет. Но раввин!..

— Мне не нужно извинений, — отмахнулся раввин.

— Но мы не простим!

Сила клокотала в этом рое, рвавшемся покарать отца.

– Не стану извиняться за грехи, которых у меня нету, – стоял на своем отец.

– Вы раввина оскорбили, – настаивал тощий старик, облаченный в полосатую пижаму. – Это оскорбление не даст вам покою на веки вечные!

– Не удивляюсь, что их ненавидят! – зарычал на них отец.

– Просите прощения у раввина.

– Мне не надо извинений. Оставьте его, – сказал раввин и двинулся по коридору.

Враждебный клубок тотчас словно распался. Люди вернулись на свои мрачные кровати, и раввин простер обе свои длинные руки в дымном воздухе, словно в попытке дотронуться до какого-то незримого предмета. "Нечего говорить. Не стоит даром тратить слова", – сказал старик в полосатой пижаме. Восковые свечи на полке густо коптели. Отец пристыженно уставился в пол. Штарк попробовал ободрить его, но отец был совершенно подавлен и не издал больше ни звука. Даже когда прощались, он не сказал Штарку: "До свидания". Штарк проводил нас к выходу. Ермолка и "талит-катан" придавали ему теперь вид рослого торговца, ссутулившегося под бременем своей работы.

– Подайте милостыню, – обратился кто-то к маме.

Мама подала ему банкноту, и он поцеловал ей руку и благословил ее. Руки отца, еще недавно полные энергии, повисли. Нищий и ко мне пристал с вопросом:

– Знаешь ли ты Пятикнижие, мальчик?

– Нет.

– Жалко, – сказал нищий.

Я не мог понять, сочувствие это или насмешка. Его лицо было лишено всякого выражения.

Мы долго бродили по сумрачным переулкам маленького городка. Выпили кофе и закусили бутербродами. Потом сидели в маленьком переполненном трактире, где отец пил пиво. Он пил, приговаривая, что пиво освежает его. Меня удивляло, что он говорит о себе подобным образом.

Ранние сумерки опустились на заборы, в окнах зажглись огни. Длинная тень, тень церковной колокольни пала на мостовую и растворилась в ранней темноте.

— Ты видела? — внезапно спросил отец.

— Что именно?

— Такие они! Неудивительно, что их ненавидят.

И опять мы бродили по пустым улицам, утопая в углубляющемся мраке. Небритое лицо отца — словно он один из тех поденщиков, которые после работы напиваются, и потом их ведут домой.

Но и после, в поезде, он не переставал ругать евреев всякого сорта, как мыши шныряющих по Австрии; в сущности, повсюду. Мама все время пыталась его утихомирить. Ее мягкость только подогревала в нем злобу. Он и Штарка не помиловал. Человек, который лезет в такое проклятие, не лучше их самих.

Отец надолго погрузился в меланхолию. Лицо покрылось желтыми пятнами, на губах заиграла дрожь. Мама отправилась искать убежище у больных и у обездоленных в заведениях закрытого типа.

Оправившись от огорчения, отец заперся в своем кабинете. Он писал, а по вечерам читал письма Терезы. Прозрачные описания сна воодушевили его. Отец считал, что их надо перепечатать и издать, как свидетельство подлинного религиозного чувства.

Осень пришла, и отец решил положить конец ненависти, которая брала нас в кольцо. К тому времени мы были уже изолированы, отвергнуты; без друзей, в самой гуще безвременья. Я еще ходил в школу, сдавал экзамены, но вокруг нас уже все дышало бестолочью, веселым отчаянием, горечью близящейся развязки; и эти мои уроки, тетрадки и книжки – маленькое сумасшествие внутри одиночества, которое обкладывало нас. Рядом, в клубе, кутили до поздней ночи парни и девицы. Под утро они пинали нашу дверь: евреи!

И маленький город, который некогда знал умеренность, спокойствие, сдержанность, бурлил теперь буйным весельем, и мы в нем были выставлены напоказ, как в клетке, осмеяны и закупорены ненавистью. На помощь отцу не пришел никто из наших многочисленных приятелей. Общество сторонников взаимопонимания между евреями и христианами, в котором отец участвовал долго и активно, став под конец редактором его журнала, закрыло свои отделения. Всю движимость распродали с молотка, и отца перестали приглашать на заседания городского совета. И почтовый ящик, знававший прежде неожиданные письма, журналы и книги, теперь был пуст, одни счета за свет и воду и предупреждения по поводу просроченных платежей.

Странно: не на друзей, которые покинули его, негодовал отец, и не на многочисленные общества, в которых он состоял и которые перестали его приглашать, – он негодовал на еврейское мещанство. Теперь он был поглощен писанием памфлетов против еврейского мещанства, обреченного на

исчезновение с лица земли из-за своего эгоизма, уколобия и неспособности к подлинному чувству. Вот все, что теперь его занимало и воспламеняло. Он писал с воодушевлением, хотя никто больше не ждал от него рукописей.

Мама все больше замыкалась в свое занятие. Она положила себе несколько маленьких обязанностей и прилежно их выполняла: еженедельное посещение больницы, сбор одежды для сиротского дома. Теперь это было личным ее секретом. Но скромные эти труды не принесли никакого облегчения. Словно она кормила какого-то ненасытного беса, вымогавшего не только ее последние гроши, но и тайные переживания. "Что за праведность! — возмущался отец. — Делай, раз делаешь, что тут за секреты! Почему ты скрываешь от меня?!" Мама стояла перед ним съезжившись, сгорая от стыда, как человек, которого поймали с поличным.

И тогда отец решил и постановил, что нельзя больше терпеть эту изоляцию. Нам надо уехать. В Тирольских горах у отца был друг молодости по имени Даубер. Из австрийских аристократов. В пору своего студенчества оба много сделали для изменения облика австрийской литературы, издавали журнал и устраивали вечера. Когда Даубер закончил учебу, родители отписали ему большое поместье в Тироле. Несколько лет он еще интересовался литературой, все более и более, однако, предаваясь своим финансовым делам и, само собою — немножко политике.

Повода для этого поспешного решения не было совершенно никакого. Отец с ним не виделся много лет. Два письма, которые написал ему отец, длинные и подробные, остались без ответа. И тем не менее он был убежден, что нам следует ехать, причем именно к приятелю в Тирольских горах. Мама попробовала сначала отговорить его от этой затеи, но он был непоколебим. Поневоле мама уложила зеленый чемодан. Я заметил, как руки ее при этом прижимались к телу, как замедленно-сужены были ее движения; и когда, повернув голову, она спросила, положить ли кожаные сапоги, в ее глазах блеснула какая-то горестная резкость. Непонятное стремление совершенно заклало отцом, он и нас увлекал за собой силой этой тяги.

У станционных касс толпились штатские и военные. Две женщины громко хохотали. Станный вид был у отца в этом мрачном углу – рот искривлен кислой улыбкой, словно он понимал безнадежность всякой попытки пробиться к окошку, но и не мог, сил не было сказать: "Вернемся. Что толку спешить!" Вероятно вот так, казалось мне, улыбалась покойная тетя Тереза, перед тем, как обрести тот, иной, душевный покой. Какая-то усталая задумчивость, разлившаяся на губах. С тех пор, как она умерла, все мы переживаем ее переживания одно за другим, частицу за частицей. И эта поспешная поездка, похоже, не что иное, как вызов на встречу с тем, иным, ее душевным покоем.

Отец теперь втиснулся в груды людей у касс. Мы видели вблизи, как он борется у решеток. Несколько раз он уж было подобрался близко, даже очень близко, рука протянута к окошку, но тут же его и отпихивали, и он отлетал со своей протянутой рукой. Однако всякий раз он снова втискивался в этот водоворот. Наконец, когда он уже вцепился в решетку и добыл билеты, кто-то рядом крикнул, прямо не обращаясь, но в его адрес: "Я бы им не позволил!" Отец нагнулся за сбитой шляпой, при этом оступился – и, когда встал на ноги, тот вонзил свой голос в него:

– Я тебя имею в виду.

Сидячее место нашлось только для мамы. Первый раз в жизни я ехал в вагоне третьего класса, полном дыма и запахов пива, среди людей, одетых в грязные замасленные спецовки. Мы стояли тесно, подставленные под сверлящие взгляды пьяных. Не помогли ни австрийский говор отца, ни его анекдоты, все теперь знали, что мы евреи, да еще такие, что пытаются выдать себя за австрийцев. Мама сидела на скамье с широко раскрытыми глазами, точно не владела ими больше и не могла сомкнуть веки, чтобы помочь себе не слушать разговоры. Монотонной тряске не было конца. Она продолжалась и продолжалась, а мы вызывали все больший и больший интерес к себе. Отец, который пробовал сначала отречься от нашего постыдного происхождения, в конце концов признался, что мы действительно евреи, но не торговцы.

— А как насчет еврейских торговцев? Их разве не следует истребить? — вонзился в отца уже знакомый голос.

— Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание: человек говорит об истреблении, — обратился отец за помощью к пассажирам.

— Милости просим, скажите вы, как надо говорить о еврейских торгашах.

— Я, — сказал отец без всякой связи, — австрийский писатель. Мой язык немецкий. Нет у меня другого, кроме немецкого. На нем я создал шесть романов, шесть сборников рассказов, две книги эссе. Разве я не принес чести Австрии?..

На мгновение стало тихо.

— Прекрасно. Почему же вы не идете к евреям и не пишете для них? Им, наверное, требуются писатели. Мы удовлетворимся тем, что у нас есть.

— Но разве я не такой же австриец, как вы? Или я не здесь учился? Не здесь окончил гимназию? Не здесь занимался в университете? Не здесь издал свои книги? — излился отец обидой.

Тут подал реплику некто другой, с изможденным лицом:

— То, что я и говорю. Не одну только экономику прибрали к рукам.

— Какой вред вам от культуры?

— Растлевет, если еврейская.

Через открытый проход донесся голос из соседнего вагона:

— Бросьте разговоры! Не стоит слов.

Изможденный человек поморщился и покраснел:

— Я слов не трачу. Это он ведет тут разговоры.

Раскрытые мамины глаза расширились еще больше, она окаменела на своем месте.

Слова иссякли. Пили пиво и пели песни, солдатские и непристойные, и ругательные — про евреев и про их толстую мощну. Голоса дышали страшной силой. Фигуру отца точно опалило, и его правая, державшаяся за поручень рука покрылась позором, как он сам. На лице трепетал не страх, лишь страдальческое выражение; и, когда поезд остановился, отец промолвил: "Пойдем отсюда".

День мерцал, и мама стояла в своем старом зимнем пальто, которое я так любил, будто лишенная последней капли воли и собственных желаний. Отец потащил нас в маленькое кафе и втолкнул внутрь, точно спасая от града.

Маленькое кафе ненадолго укутало нас в теплый аромат старого уюта. Отец говорил на австрийском диалекте, и хозяин кафе встретил нас радушно и поспешил предложить горячий кофе и хлебцы с маслом. Отец тряхнул головой:

— Изрядный кусок пути одолели.

В прошлом году он получил письмо, очень теплое, от дальнего родственника из Южной Америки. Письмо было написано по-немецки, ломано, однако понятно. Родственник звал нас к себе. Экономическое положение, писал он, правда, неблестящее, но человек инициативный без хлеба не останется. Главное, тут нету откровенного юдофобства. Письмо ужасно разозлило отца. Обратиться к известному австрийскому писателю и предложить ему ехать в Южную Америку, чтобы открыть там бакалейную лавку или ссудную банковскую контору — разве не еврейская это наглость! Только имущество. Только деньги. Никакого уважения к литературе или музыке. Инстинкт самосохранения тяготеет надо всем на свете.

Как все изменилось с той поры! Однако решимость отца остаться в Австрии еще укрепилась. Уехать в такое время, когда бушуют злые бури, значит, признать, что светоч разума угас, и литература не принесла никакой пользы. Отец отказывался ехать, облекая при этом свой отказ в какую-то злобную форму: "Пускай едут торговцы. И пусть едут мещане. Я их терпеть не мог. Мы будем стоять на своей вахте".

Положение все время ухудшалось, но отец цеплялся за любую иллюзию, любой мираж. Если приходило письмо от какого-нибудь читателя на отшибе с похвалой одному из его произведений, он перечитывал письмо по многу раз и находил в нем признак изменений к лучшему, а когда получал письмо от друга молодости, крещеного или смешанного происхождения, который соглашался с его взглядами, отец был счастлив, как если бы написал

удачную главу. Но писем и не было почти. И, поскольку денег на судебные иски тоже не осталось, отец время от времени ездил к старым приятелям попытать счастья, но возвращался ни с чем. Тут на ум ему и пришел его тирольский друг.

Между тем хозяин кафе принес хлебцы, масло и чашки с горячим кофе. Был тут простой уют, напомнивший другие времена. Голос отца вернул себе прежнюю уверенность, а заодно и планы вернулись: книгоиздательство либерального направления, журнал, который поведет борьбу с бурями лихого времени. Один Даубер это поймет, — борец, аристократ и прирожденный либерал. В отце засела вера, что все решительно переменится, как только мы до него доберемся.

Пока, однако, нам предстояло добраться до другой станции, стоявшей на главной магистрали. Хозяин кафе не мог ничего сказать ни о дороге, ни о расписании поездов. Его безмятежное крестьянское лицо выражало беспомощное недоумение человека, никогда и никуда не ездившего. Свечерело, и маленькая станция была пуста. Пакгаузы закрылись, и боковые железнодорожные ветки обрывались у закрытых пакгаузов. Отец попробовал старыми речами исправить нам настроение, но не смог рассеять туман неизвестности, укутавший эту безжизненную тишину. От мысли, что скоро мы потащимся на почтовом, среди враждебного окружения, радости было мало.

И, когда уже иссякла, казалось, последняя надежда, появился маленький состав, вагоны которого болтались из стороны в сторону, и остановился у станционной платформы. Время было уже позднее, и пассажиры вповалку лежали на скамейках, издавая запах пива. Куда едут, отец не спрашивал, он рад был, что пассажиры спят. Только ошибся он: один бодрствовал, не замедлил обнаружить нас и сказать во весь голос: "Чего надо евреям в глухой нашей стороне!" Пассажиров он своим голосом разбудил. Теперь я впервые почувствовал на себе взгляд ловца. Что-то в нас, иной какой-то оттенок белокурой растительности моментально выдает нас взгляду таких ловцов. На нашу беду,

свободное место нашлось только возле этого самого ловца, выловившего нас с первого же взгляда.

— С чего это вы так уверены? — попытал отец свою притворную выдержку.

— Я их хорошо знаю, — спокойно ответил пассажир. Словно речь шла о постороннем деле, к которому мы не имеем никакого отношения.

— Но откуда? — изумился отец.

— Благодаря продолжительным наблюдениям. Человек приглядывается и научается. Ведь так учатся, не правда ли?

— И по каким признакам вы их отличаете?

— Признаков много. Но давайте рассмотрим наглядное. Они ростом пониже, не так ли?

— А среди коренных австрийцев низкорослых нету?

— Как же. Есть, конечно. Но не такая приземистость. У евреев плечи круглые. Оттого, что подымать тяжести не привыкли. Такое плечо, к примеру, как у вас, очень оно еврейское. Даже поразительно еврейское, я бы сказал.

— Не замечал, — сказал отец, захваченный этой деловитой точностью. — И этого достаточно?

— Нет, отнюдь. Кто делает вывод из одной приметы, тот может впасть в ошибку. А такая ошибка ведь порой очень серьезная, обиднейшая. Надо приглядеться к глазам. Их взгляд скажет вам многое.

— Любопытно, — молвил отец.

— Взгляд у них всегда испуганный.

— Из-за чего испуг?

— Нет в мире существа, которое так боялось бы за свое потомство, как еврей.

— А чистокровный австриец не боится?

— Чистокровный австриец не пуглив. Происхождение у него крестьянское, и спокойствие он всасывает с соками земли. Дети растут сами по себе. Никого он не осуждает, и самого себя не винит.

— И этих примет достаточно?

— Нет. Ни в коем случае. Но для первой прикидки — хватает. Хотя вывод еще не окончательный. Имеются у них некоторые ужимки, исконные я бы сказал, переходящие по

наследству. Их я обнаружил, к собственному удивлению, у некоторых отпрысков от смешанных браков.

— Вы очень обстоятельны.

— Благодаря наблюдениям. Человек приглядывается да научается, не так ли?

В его голосе не было никакой злонамеренности, одна приверженность к фактам, которая отца, по-видимому, совсем не пугала. Отец задавал вопросы, как расспрашивают относительно какого-нибудь места или механизма, и его собеседник отвечал с сознательным старанием быть точным.

Люди в вагоне спали, укрывшись своими пальто. В буфетном вагоне сидели несколько пассажиров за кружками пива, погруженные в свои мысли.

— Какая у вас профессия?

— Попробуйте, угадайте, — сказал отец.

— Врач или адвокат?

— Почти. Я писатель.

— Вы наверное пишете в газетах?

— В журналах.

— Интеллигент, не так ли?

Часа через два поезд прибыл на узловую станцию. Никто не сошел. Отец откланялся своему собеседнику с какой-то странной признательностью. Холодные, зимние огни стекали на пустой перрон. Странно, зачем мы ходим по этим чужим местам, думалось мне. Не иначе, как рекогносцировочная поездка по неизведанной территории.

”Чашка кофе! Полцарства отдал бы за чашку кофе”, — выбрался отец из своих тенет и отнесся к нам с какой-то отзывчивой ласковостью. Киоск был закрыт, начальник станции объяснил нам сдержанным голосом, что в это время суток все закрыто. Мама не раскрывала рта. Казалось, она вся, без остатка перешла в это замкнутое состояние. Ни спокойствия, ни злости — машинально плетется следом за ночными блужданиями отца, которому ничего теперь не надо было, кроме чашки горячего кофе. Страх охватил меня на мгновение: неужели так оно теперь и пойдет? С поезда на поезд?..

Поезд действительно пришел. Вагоны пустые, в первом

классе тоже никого. Вдруг все стало как в былые времена: удобные мягкие сиденья, зеленые занавески, вам подают кофе. Точно после кошмара, который приносит вслед жаркое облегчение. Даже мама оттаяла и промолвила: "Бог мой, где мы?" – "Не так страшен черт, как его ма­люют. Есть еще человеческие поезда", – шутливо сказал отец.

Только благополучие это продолжалось не более часа. Мы снова стояли на маленькой станции, полустанке, состоявшем из одинокой будки, открытом всем ветрам и без всякого освещения, и, если б не покосившийся щит, на котором среди прочих названий значилось поместье Даубера, не было бы ни малейшего указания, куда двигаться. Отец обрадовался щиту, точно нашел клад. "Вы­дуюжим, – сказал отец, – надо только привыкнуть к этим новым потемкам".

Уже пропели вторые петухи. Глыбы мрака сочли­сь с холмов, как вязкая грязь. В лицо хлестало туманом. Ни­каких примет жилья, только мокрядь возделанных полей и навозный дух. Мы долго топали. Отец, вскинув чемодан на плечи, шел впереди широким шагом. И, когда мрак сгу­стился и больше ничего нельзя было различить в потемках, мы остановились у дерева.

Оказалось, что поместье недалеко. Это открытие принес нам первый свет зари. "Это так, – проговорил про себя отец. – Человек слепнет, если теряет веру".

На высоком взгорье, окруженном холмами пониже, стоял дом, вернее ряд построек. Утренний свет кутал их в легкую дымку и в нежные оттенки розового. На мгновение, после целой ночи блужданий, нас захватила эта пасторальная картина. "Попали по адресу!" – воскликнул отец, просветлев лицом. Нас можно было принять за курортников, – экипаж задержался, и они решили погулять пешком.

У въезда в поместье отец отрекомендовался старым другом князя, другом молодости, собратом по взглядам и мечтам. Сторож, на которого австрийский диалект произвел должное впечатление, сказал в замешательстве, что князь поживает еще в такой ранний час.

— Непременно согласится встать, если ему доложат про меня. Мы с ним много лет учились вместе, — сказал отец.

Поколебавшись, сторож все же решился позвонить. Телефонистка ответила, что у нее имеются строгие указания. И речи не может быть, чтобы их нарушить, и все, на что она согласилась, — это записать данные и по возможности скоро довести их до сведения князя. Отец смеялся: "Он спит!"

В будке сторожа тем временем стало тепло. Он подал нам кофе с хлебом крестьянской выпечки, и отец снова стал рассказывать ему про чудные времена, венские денечки, когда они учились вместе с князем. Сторож, ловивший каждое слово, пустился в расспросы, и отец щедро одаривал его подробностями. Мама разула мокрые туфли и поставила сушить у печки.

Два часа прошло, а телефон молчал. Отец попросил позвонить. Телефонистка, может, запомнила. Или, может, сменилась. Сторож засомневался опять, но все-таки согласился и позвонил.

Всему свой черед, гласил ответ телефонистки. Просьба у нее записана. Свяжется, когда получит ответ. Такие ее слова все еще заключали в себе некоторую надежду, некоторое обещание, да и сторож сохранял вежливость и угостил нас сушеными фруктами. Над помещьем низко плыло холодноватое, но приятное осеннее солнце, и влажный запах приводил на ум выбеленные комнаты, печь, в которой гудит огонь, и теплые молочные кушанья.

Утро миновало, дымка на полях растаяла, затем и полдень прошел, а ответа не было. Новую просьбу к сторожу позвонить телефонистке теперь пришлось уже подкрепить плиткой швейцарского шоколада. Ответ телефонистки был недвусмысленный: просят не беспокоить больше по этому вопросу. Когда придет ответ, тогда и свяжутся. Сторож рассыпался в извинениях и обещал впредь поступать строго по инструкции.

Лицо сторожа бросило в краску. Отец собрал остатки гордости.

— Не стану дожидаться до бесконечности. Дружба не бы-

вает односторонней. Не буду задерживаться. Человек не пресмыкающееся. Не обессудьте, что затруднили, — обратился он к сторожу с каким-то странным рыцарским великодушием. Но тот не ответил, побоявшись новых осложнений.

Мама ни слова не выговорила. Мы шли теперь в направлении станции, увлекаемые быстрым шагом отца. Кроме нас, ни единой души не было на всем этом возделанном горном пространстве. Хотя происходившее было до боли реальным, мне казалось, что все это дурной сон, и эта монотонная ходьба — от того же тяжелого сна, сковавшего нас.

Когда мы пришли на станцию, солнце уже догорало на черепичной кровле. Пальто отца было забрызгано грязью, в лице одержимость: "Мы едем отсюда первым же поездом", — заявил он, точно у него был какой-нибудь выбор.

Странным было поруганное достоинство отца на этом крошечном полустанке; ни людей, ни сторожа. Один за другим проходили, не останавливаясь, роскошные скорые поезда, прошел один товарный и тоже не остановился. И, когда стемнело и появился сторож, отец набросился на него, словно это был не караульщик, а главный железнодорожный диспетчер. Худой этот человек улыбнулся, извинился и объяснил, что он тут всего-навсего сторож. Если до девяти наше терпение не лопнет, поезд довезет нас до самого до дому. Отец убогостворился, и к нему вернулось спокойствие.

— Откуда будете? — на крестьянский лад спросил сторож.

— Были с визитом в поместье Даубера.

Сторож обходился с нами вежливо, да и вспышку простил, не обиделся, отчего отец преподнес ему плитку шоколада, а сторож со своей стороны рассказал, что вот уже много дней, как никто носа не кажет на этот полустанок. От села до полустанка далеко. А поместье Даубера имеет свои грузовики. Мама попросила воды, и сторож принес воду в старом кувшине. Он поблагодарил за шоколад и принялся изливать досаду на новые порядки, на то, что деньги упали в цене и девки себя больше не соблюдают. В городе, видно, подуло смутой и беспокойством. К отцу вернулась способность спокойно слушать. Когда он спро-

сил, не найдется ли у сторожа чашки кофе, тот извинился и сказал, что прежде у него тут был стол и кофейный сервиз, и он всех и каждого приглашал на угощение. Видно было, что врет, но отец и виду не подал, так обрадовался его болтовне: свидетельство, что сторож все еще принял его за господина.

В девять пришел поезд. Сторож отнес чемодан в вагон. Отец попрощался с ним, как прощаются с верным слугой.

Поезд помчался в глубь, в потемки. На скамейках по углам лежали усталые пассажиры, зарывшиеся в свои пальто. С округлого потолка тек приглушенный свет. На отца напала грусть, и его лицо подернулось новой мозаикой теней. Внезапно я понял: эта ночь нас не отпустит от себя целыми и невредимыми.

Женщина, сидевшая рядом с нами, спросила, далеко ли мы находимся от Кноспена. Отец оторвался от своей меланхолии. Как если б проснулся от прикосновения нежной руки.

— Нет, недалеко, мадам, недалеко...

Это была молодая женщина. В ночном свете ее лицо было довольно милостивым. Она спросила отца, знакома ли ему дорога, и отец, очнувшийся от своей тоски, рассказал в подробностях и с какой-то скороспелой симпатией о местах, мимо которых мы проезжали. О местечках, где славное вино. И отличное жаркое. И настоящая сельская атмосфера.

Женщина сделала кокетливую ужимку и засмеялась, словно с ней делились не общеизвестными фактами, а маленькими секретами приятно-игривого содержания. И, когда отец открыл ей, что он — писатель Ф. А., она рот разинула и схватила его за руку: не может быть! Она читала книги отца, оказывается, и рецензии читала, и даже знакома с известным очерком Стефана Цвейга об отце.

— Теперь они меня поносят, — промолвил отец небрежно.

— Еще пожалеют, — сказала она.

Отец высвободился из всего, что его вязало. Хохотал и рассказывал разные случаи. Рассказывал про Стефана Цвейга, про Вассермана и Шницлера, про венскую братию и про братию пражскую и про писателя, которому уготовано великое будущее, — про Франца Кафку. На отца нашел припа-

док словоизвержения. Казалось, мы только для того и ездили, чтобы встретить эту женщину и чтобы она подарила ему немного женского восхищения. Про нас с мамой он словно забыл; и по мере того, как усиливалась вагонная качка, я все отчетливей ощущал, что его симпатии к этой женщине растут и крепнут.

О поместье Даубера он ей не рассказал. Упомянул только, что ему не терпится дописать несколько глав своей новой книги. Голосу он пытался придать небрежный тон преуспевающего человека. Писатель, заметил он, порой нуждается в анонимной встрече, анонимной аудитории, а ночь иногда подстраивает поучительные рандеву.

Неподвижное лицо мамы очнулось, и она со стороны наблюдала за отцом, словно это был не ее муж, а чужой мужчина, пытающийся понравиться женщине.

Остаток пути мы проделали в молчании. Отец задремал. Его усталое лицо на спинке скамьи выражало странное блаженство, как лица пьяных. Только левая рука, печально мотавшаяся в такт качке, жила отдельно от его расслабленного тела.

Дорогу со станции домой мы проделали пешком. Лицо отца было воодушевленное, он шел большими шагами, как на редакционное заседание в свое время. Я чувствовал: мы теперь были его увеличенные, тяжеловесные отростки. Без нас ему было легче. И, когда мы вернулись домой, между нами залегла неловкость. Отец сразу принялся разуваться, произнося при этом следующие фразы:

— Даубер еще пожалеет. Не прощу ему никогда. Есть еще люди, которые меня ценят. — Позор теперь обернулся у него проворно-невнятной деловитостью.

И когда рассвело, по комнатам повеяло новой отчужденностью, которую мы привезли из наших странствий: отчужденностью белой, страдальческой и безмолвной. Никто ей не удивился. Морщинка над верхней маминной губой теперь ритмически дергалась, словно рана, пытающаяся соединить разорванные края. И хотя ночь мы провели в пути, мама сказала сурово: "Почему бы тебе не отправиться в школу? У тебя экзамен по латыни". Я знал, она не хочет меня в доме в этот тяжелый час. И, стоя на пороге с

ранцем за плечами, заметил: из ран ее выросла теперь какая то загадочная гордость.

Последние дни дома — мы не знали, что это последние дни, — двери у нас стояли настежь, и чужие люди входили и выходили, как в коридоре канцелярии. Мама готовила на кухне бутерброды. Это были еврейские торговцы, объятые паникой, искавшие на своем пути минутного пристанища в нашем доме. Приходили также перезрелые, загнанные девы с следами пудры на скорбно-увядших лицах. И женщины с маленькими детьми; и еще всякие пропащие головы, уже меченные железнодорожной сажой, в том числе старики из среднего сословия. Наш дом казался им островом, не затопленным волнами несчастья. Странное дело, никто не мог объяснить, что с ним случилось. Как он сюда попал и куда, в сущности, собирается податься. Некоторые были еще прилично одеты, у других уже несло от платья потом и машинным маслом. И, как в любом месте, где пахнет бедой, так и тут занимались куплей-продажей и обменивались слухами и унылыми анекдотами.

Отцовские фантазии и теперь не прекратились. Он лихорадочно писал и шлифовал написанное. Весь гнев его был направлен на самого себя, на уродливые плоды его творчества. Запершись у себя в кабинете, он работал и днем и ночью, и таким образом, выступил на борьбу с злыми духами, которые с лета не переставали сотрясать своими ударами наш дом.

И когда все вокруг вопило о`бедѣ, из Вены пришли два письма и поселили в отце новые надежды. Были это, как оказалось, письма баронессы фон Дрюк, подруги молодости

отца, которая возобновила свой литературный салон и раздобыла огромные деньги на выпуск нового журнала.

Мама не обрадовалась. Словно понимала, что это лишь осенний мираж, насмехающийся над фантазиями отца. Она прилежно делала свое дело: ежедневный визит в больницу, еженедельный визит в сиротский приют и бутерброды для перепуганных торговцев, которые шли и шли. Мама все больше замыкалась, уходя в эти занятия и не желая отказаться ни от единого из них. Радости в этом деле не было, лишь неуклонность, на которую ее словно осудил кто-то. Отца с нами больше не было. Он ушел и пропал во мраке, заполонившем его окончательно.

В городе был дом для престарелых, ужасно запущенный, с годами заброшенный совершенно. Старики иногда устраивали набеги на городские улицы просить милостыню. Упрямые, гордые старики; и муниципальные инспекторы вели с ними тяжкую борьбу. В один из холодных осенних дней прибыли подводы и забрали стариков. Подводы парадным шествием проследовали по Габсбургскому бульвару. Старики махали костлявыми руками, руками, исполненными какого-то злорадства. По-видимому, им пообещали хорошие условия в другом месте, и они поверили. Вереница неспешно двигалась на станцию. Мама провожала их у дверей, пока они не исчезли из вида. Что означает это событие, не знал никто, но мама о чем-то догадывалась, по-видимому, так как с тех пор не переставая распределяла носильные вещи, готовила бутерброды. Во всех ее движениях сквозило странное, аскетическое благочестие, как у человека, сознательно наложившего на себя обет самоизнурения.

В один из вечеров она привела домой Хельгу. Это была девочка моего возраста, из местного приюта для подкидышей. Приюту предстояло перемещение, и мама единолично приняла решение взять ее к себе. Нельзя сказать, чтобы девочка была очень красивая или симпатичная. Неправильные черты лица, и лоб низковатый, но, кроме этого, ничего заметного. Так и она прибавилась к сумятице последних дней. Никто не подозревал, что дни эти последние, лишь от маминой благотворительности несло каким-то особым

запахом, причем мама старалась почему-то, чтобы все замечали ее дела. Она распекала торговцев-странников, точно это были не чужие люди, а родная кровь, которой необходимо поставить на вид ее недостатки. Она отдавала все, что могла, но она это не делала с легким сердцем.

И моя учеба во время этой, последней, сумятицы не прекратилась: плебеи и патриции. Уравнения с двумя неизвестными, и те вековечные бассейны, у которых два крана и которые не иссякнут никогда. Контрольные за неделю и за полмесяца, с тем, чтобы ничего не упустить и теперь. Мама следила за аккуратным приготовлением уроков.

А по вечерам Хельга рассказывала мне об удивительном мире под названием приют для подкидышей, о длинной спальне под названием дортуар, о столовой, служившей в случае надобности залом для торжеств, о злых директрисах и о работнике прачечной, который приставал к девочкам. Она говорила безыскусно, как человек, который рассказывает быль. Временами ее лицо загоралось лукавой улыбкой, точно у девушки, сведущей уже в некоторых тайнах. Но более всего она боялась школьной науки, и, если и питала надежду, что когда-нибудь от нее избавится, то знала теперь, что здесь-то ничего в этом смысле не изменится. После обеда она помогала маме готовить бутерброды или раздавать одежду. За свою короткую жизнь, бросившую ее из одного приюта в другой, она научилась приспособляться ко всему на свете, и у нас прилагала старания лишь к тому, чтобы выказать довольный вид.

Однажды ее поймали на краже. Несколько медяков, которых едва хватило бы на коробку конфет. Мама, однако, обошлась с ней чрезвычайно круто. Помнится, она ей сказала: "Мы не богаты, но некоторую опрятность соблюдаем. Этого у нас не отнимут".

Хельга плакала, колотила себя по голове, клялась в жизни больше не брать чужое. Мне Хельга заявила вечером, что не она украла — это бес, который сидит в ней и временами берет над нею верх, он украд, она бы не стала красть. Она знает, что красть нельзя. Странно, как она говорила о себе. Однажды спросила у меня, не евреи ли мы.

- Как ты угадала?
- Угадала.
- Евреи избалованные, правда?
- С чего ты взяла?
- У нас так говорили.
- И что еще говорили?

Она прыснула:

- Не могу повторить, это неприлично.
- А ты сама, ты тоже еврейка?
- Не знаю. — Она снова рассмеялась. — У нас, у воспитанников приюта для подкидышей, нет родителей, и мы не знаем, чьи мы.

Я быстро установил, что у нее есть свои слова, слова, которые смешат ее, и слова, от которых у нее хитро складываются губы. Мама не жалея времени, сидела с нею над ее тетрадками. Почерк у нее был груб и шероховат, точно она врезала буквы в бумагу.

И когда сумятица была в самом разгаре — испуганные торговцы, женщины, потерявшие своих мужей, загнанные девушки и мама на кухне за приготовлением бутербродов, — отец позвал меня к себе. Странен был отец в этот час, вид у него был пугающий. Он заговорил о своих произведениях и непростительных дефектах своего письма. Он был лихорадочно-возбужден и меня тоже пытался затащить в свои темные норы. Он говорил о Кафке и о том таинственном элементе, который ищут все художники; лишь Кафка нашел его. С тех пор все потуги писать — оскорбление для искусства. Я понимал, что он говорит со мною о присяге, которую принес своей молодости и тому демону педантизма, который от него не отстает. И вдруг замолчал. У него словно пропали слова, и я вместе с ними.

В городе одно за другим ликвидировали учреждения: госпиталь для душевнобольных и приют для парализованных. Подводы, которые до того увезли стариков, повезли теперь сумасшедших и паралитиков. Вереница телег проследовала мимо нашего дома, и безмолвие пропавших лиц тут надолго остановилось, не нарушаясь. А по ночам в стены домов просачивалась осень.

Хельга приставала ко мне с вопросом, есть ли у евреев секреты и в чем они заключаются. Она умеет хранить секрет и никому его не откроет. Голос у нее был хитрый, как у девушки, которой известно, что есть секреты в жизни. Она носила теперь облегающее поплиновое платье, которое мама сузила так, чтобы оно ей шло. Платье ей в самом деле шло.

Но меня она не перестала пытаться:

— Расскажи мне секреты, ну, расскажи! Я никому не открою.

— Нет секретов.

— Почему ты меня обманываешь?!

— Нет секретов. Мне, во всяком случае, они не известны.

— Не может быть, чтоб не было хоть немножко. Ты просто не спрашивал.

Меня удивляло, как тонко она реагирует и какая у нее манера смеяться. Если б не арифметика с латынью, никто бы никогда не сказал, что она глупа. Ужас на нее наводили только тетрадки и книги. Меня она все время дожимала: "Но что-нибудь ты, наверное, знаешь? Почему мне не доверяешь? Ведь у нас дружба".

— Вы верите в Бога? — подстерегла она меня однажды.

— Нет.

Она засмеялась:

— Теперь я поняла.

— Что ты поняла?

— Правду.

— Какую правду?

Она засмеялась загадочным противным смехом.

Я знал, что в этом маленьком городе нас поносят на каждом углу. Даже благотворительные занятия мамы, ее хлопоты истолковывались не в нашу пользу. Что говорить об отце, человеке, который сиднем сидит в своей комнате и пишет. Но тем не менее суд над нами вершился относительно укромно.

Однажды Хельга вернулась из школы расцарапанная, ранец порван, волосы дыбом. Подралась с девочками, назвавшими ее еврейкой.

— А ты что сказала им? — спросила мама.

- Я подралась с ними.
- И что они сделали?
- Били и проклинали меня.

Так и ее постигла наша участь. Она боролась из всех своих слабых сил, но ничего не помогло. Секрет, который она искала у меня, вселился уже в нее самое. Она, может быть, этого не знала. Она изменилась за месяцы, проведенные у нас. Она по-прежнему воровала, опаздывала и дралась на улице. Но теперь она тут же каялась, просила простить ее и оплакивала свои маленькие преступления. Мама не поддавалась ее исповедам и прощала нелегко. "Так не поступают, Хельга, — сказала она однажды, — у нас ведут себя по-другому".

Порой казалось, что когда-нибудь она возьмет и сбежит или наклеветает на нас. Тем более, что мама заставляла ее делать уроки, зубрить и выполнять другие школьные обязанности, все, к чему прежде она едва притрагивалась. Но она не убегала. Словно ее к нам судьба приговорила. Мало того, жесты у нее стали скрытными, пальцы побелели и к костистому рту приклеилась какая-то другая, тощая, улыбка. Вопросы ее прекратились, мама рассказывала ей про иные времена, когда все было по-другому и быть евреем не считалось зазорным.

Хельга не говорила, что ей у нас хорошо. Что она хочет остаться у нас. Мама тоже не говорила, что лучше для нее быть с нами. Выбор, если вообще еще существовала его возможность, она оставила ей. Временами казалось совершенно ясным, что Хельга собирается с нами распрощаться, бежать куда глаза глядят, лишь бы там учиться не заставляли, в трактир или на станцию в уборщицы. В конце концов она, однако, не ушла, может из-за того, что лишилась у нас чего-то, той жизненной силы, которая делает человека отважным существом.

Отец иногда выходил из кабинета с криком: "Хватит ее мучать! Человек может жизнь прожить и без алгебры и латыни!" Но то были одни слова: он находился в совершенном плену у великой химеры по имени баронесса фон Дрюк: обновление австрийской литературы, журналы,

книги, общедоступная библиотека, которые будут сражаться со злыми духами.

И вот так, без того, чтобы что-нибудь разрешилось, наступили дни, отягощенные душной влагой, предгрозовые дни. Что гроза уже вышла в путь — этого не представлял никто. Осенний свет был в полной своей красе, холодный и прозрачный; торговцы уходили и приходили, и мама не пропускала ни одного визита в благотворительные заведения, которые еще уцелели. Она придерживалась своего расписания неукоснительно. Деньги кончились, но носильных вещей в доме было еще полно.

Однажды вечером явился былой друг, доктор Баум, из еврейско-христианского общества, человек рослый и с размеренными движениями. Уже много недель как мы не видали у себя друзей из христиан. Отец радостно его принял, тот занял свое обычное место и без всяких предисловий зачитал либеральную петицию: евреи евреям рознь, не все евреи торговцы. Необходимо составить список еврейских интеллигентов, внесших вклад в австрийскую культуру. Всем паразитическим элементам надо воздать по их делам и, смотря по обстоятельствам, судить или выслать.

Отец сидел в своем кресле и читал параграфы. Мысль, что есть еще человек, который от него не отвернулся, обрадовала его на мгновение, и он сказал: "Виновные будут привлечены к ответу. Согласен". Я знал: это — обвинительный акт, составленный по нашему делу, и человек с размеренными движениями не кто иной, как один из членов суда. Человек немного посидел у нас, и его нордический обезвоженный взгляд навел на меня холодный ужас.

В ту ночь мы не спали. У Хельги страшно разболелись зубы, и она выла, корчилась на полу и просила себе смерти. Мама пустилась искать дантистов, но ввиду позднего времени повсюду наталкивалась на отказ. Назавтра Хельге выдернули два передних зуба. Она лежала на кровати в гостиной с забинтованным ртом.

О том, насколько мы не понимали, как близок конец, расскажем следующие факты. Отец делал все пригото-

ния, чтобы ехать в Вену возобновлять литературный салон баронессы фон Дрюк, мама прилагала огромные усилия на основании нового приюта для паралитиков и бесплатной столовой для странников. Между мамой и отцом не прекращались ссоры. Не было такого предмета, по поводу которого они пришли бы к согласию. Тонкое, великодушное спокойствие, некогда царившее в нашем доме, исчезло без следа. Запах нафталина с запахом заплесневевших старых книг наполнили дом осенью и удушьем. Никто больше не щадил чувств другого. Хельга имела жалкий вид без своих передних зубов. Она корпела теперь над тетрадками с мрачной одержимостью, занимаясь до поздней ночи. Пользы, однако, это не приносило. Отметки как были позорными, так и остались. Я преуспевал в учебе, но мне это не ставилось в заслугу. Все словно сговорилось, что я обязан ходить в отличниках. Или со всем справляться, по крайней мере.

И так как никто не знал, что это последние дни в этом доме и на этой улице, и возле этой маркизы, по-прежнему бросавшей влажную тень на тротуар, каждый был поглощен своими делами, словно и конца быть не могло этой жизни. Отец и его литературные бредни, с которыми он не расставался, даже когда все вокруг приблизилось уже к самому краю пропасти. Он не переставал править и снова исправлять предложения и абзацы, словно перед ним были не слова на бумаге, а грехи, которые оставить без искупления просто невозможно. Мама тоже не давала себе пощады. Работала с утра до вечера и затем сидела с Хельгой над ее тетрадками. Никто не щадил чувств ближнего своего. Только бедная Хельга принимала нашу общую милость и заботу о ней, как нечто совершенно естественное.

”Возьми плащ”, вот последние слова, которые мама сказала отцу. Гнев и горечь не лишили ее сил выговорить эту фразу. Отец, уже не слушая, метнулся в темноту. Никто не пытался остановить его, и шаги растворились во влажном мраке, в шелестящем чавканье. Я сидел в гостиной за приготовлением урока по алгебре, Хельга, моя приемная сестра, у пианино. Все произошло в один момент, как если бы грозовой электрический разряд полоснул по старой мебели и обуглил ее. Назавтра мама пила в гостиной кофе с сухарями; халат застегнут до самой шеи, лицо без следа косметики. Подбородок был иззубрен синим светом халата. Мы с Хельгой отправились в школу, как пристыженные. Урок религии преподавал священник Маубер. Мы читали молитву святой Маувилии. Внезапно я увидел отца, босого и чуждого, взбирающегося на склон горы, карабкающегося и падающего.

Когда я вернулся, все было на своих местах. Густой, осенний свет зарылся в ковры на полу. Мама сняла с себя синий халат и надела платье. И я без разговоров сел за уроки. В пять часов собралась в гостиной комиссия по поощрению литературного творчества, в которой состоял отец. Место отца рядом с председателем пустовало. Обсуждали какую-то рукопись, достойную поощрения, если б не несколько порнографических отрывков. Сухо поспорили. Председатель ссылался на пункт первый устава, где было прямо сказано: ”На пользу красоте и хорошему вкусу”. Постановили решение отложить. Председатель подписал

протокол и собрал подписи присутствующих. Мама подала кофе с творожниками.

О внезапном уходе отца не говорил никто. Все шло своим чередом. Еда подавалась вовремя. Место отца во главе стола сохранялось за ним. Мама больше не ела вместе с нами. В субботу пришло заказное на мое имя. Я узнал почерк отца, он интересовался моим здоровьем и здоровьем Хельги. Просил меня отправить ему по почте книги с письменного стола и сложить рукописи в отдельный пакет. К письму была приложена доверенность, выданная мне на получение всех заказных почтовых отправок в его адрес. Новый адрес значился на оборотной стороне конверта: Вена, улица Масарика, 5. У мамы, я чувствовал, нет желания читать это письмо. Хельга ночью спросила, не хотел бы я поехать в Вену к отцу. Как видно, она совершенно ничего не поняла в этой круговерти.

Холод усилился, и ставни на окнах задних комнат затворили. Весь день стояли жидкие сумерки. Никто ничем не интересовался. Мы словно уговорились не затевать никаких разговоров. Страшные слухи о высылке временно ходили теперь вне нашего дома. Маленькое наше несчастье закутало нас точно в мокрую вату.

От отца снова пришло письмо, и снова мне. И опять без упоминания о маме и без приветов ей. Хельга приносила из школы ядовитые рассказы. Девочки говорят, что у него есть графиня в Вене. Другие — и того пуще: не графиня, а оперная певичка. Хельга смеялась, и мне было больно от ее смеха.

Приближались сроки моей "бар-мицвы", и мама спросила, не стоит ли посоветоваться с раввином. Меня это изумило: никогда ноги ее не было в доме, где исполняли обряды. С чего это вдруг теперь? Я подчинился без разговоров. На завтра мы отправились в канцелярию раввина. На улице не было ничего привлекательного. Маленький, ухоженный город запятнали влажные облака. Моросило. Мы двигались по улицам почти бегом. Мама говорила со сдержанным огорчением о жалких результатах школьных занятий Хельги. Преподавательница игры на фортепиано тоже недовольна.

Раввин спросил нашу фамилию, употребив при этом какие-то непроницаемые слова. Словно мы были у него на подозрении. Мама, которая никогда не произносила имени своей матери, упомянула ее. Раввин достал из ящика карточку и приступил к подробным расспросам. Наконец поднял глаза, иссиня-черные, и осмотрел нас. Слова, видно, его не тронули.

— Дом, где предписаний не исполняли и сыновей не обрезали, не достоин зваться еврейским домом, — сказал он.

Мама встала, налившись всей своей оскорбленной гордостью:

— Мы евреи и без согласия раввина.

Раввин вернул бланк в картотеку:

— Раз так, зачем пришли?

— Убедиться, — сказала мама, сдернув с себя шейный платок, — что нам не место рядом со жрецами лжи.

Визит причинил ей боль. С тех пор и до последнего ее дня я не видел больше мягкой черты на ее лице. Она была деловита, и самоотверженность ее не знала границ. Как женщина, весь мир которой состоит из самоотдачи. В декабре наши потребности начали сокращаться. Мама стояла у раковины и варила, мыла посуду и стирала. Хельга по-прежнему не успевала в школе, и мама просиживала с нею часами, помогая готовить уроки. В декабре у нас еще состоялись заседания нескольких комиссий. Комиссия по поощрению литературного творчества имени моего дяди не утвердила стипендию молодому писателю. Затем собрания комиссий в нашем доме прекратились. Мамина любовь нежной не была, но зато принадлежала нам, как никогда прежде. Письма отца приходили каждую неделю, на мое имя. Однажды он попросил спросить маму, будет ли ей угодно, чтобы он пришел. Я спросить не осмелился.

Мой тринадцатый день рождения мы справили без обряда. Родственников у нас в городе не было. Друзья дома держались подальше от нас. Хельга испекла торт и надела парадное платье. Мама сыграла в честь праздника несколько сонат Моцарта.

Издательства возвращали рукописи отца одну за другой.

Из Америки он тоже получил отрицательный ответ. И в одной из сопроводительных записок было сказано без обиняков: Австрии требуется иная, здоровая литература.

Экзамены за семестр были нетрудные. Мой табель блистал множеством превосходных отметок. Мама не поцеловала меня в лоб. Предметом ее забот была теперь Хельга. Хельге не давались арифметика и латынь. Синтаксический разбор предложения стоил ей больших усилий.

Иногда заглядывал какой-нибудь старый знакомый или прислуга. Мама раздавала теперь одежду благотворительным обществам. Высокие комнаты постепенно пустели. Я написал письмо отцу. Снял копию с табеля.

Хельга принесла новую сплетню: отец живет у баронессы фон Дрюк и возобновил литературный салон. Его видели в обществе баронессы, на нем была шляпа с пером. Я знал, что есть некоторая доля истины в этих слухах, и все-таки злился на Хельгу, распутившую язык.

Злые дни приближались медленно, но неуклонно. Без всякого повода меня исключили из гимназии. Хельга принесла ужасный табель, со строгим предупреждением, что, если она не выдержит переэкзаменовки, будет отчислена из школы без всякого нового уведомления.

Не в срок ударила зима. Круг нашей жизни съехался в двух передних комнатах. Хельга уже не выпускала из рук учебников. Мама повторяла с нею формулы до поздней ночи. Две переэкзаменовки по математике и латыни сторожили ее, как ангел смерти. Бедная Хельга колотила себя по голове. В начале февраля мы проводили Хельгу в школу. Валил снег, и мы спешили пройти улицы, точно воры. Ждали на дворе, дрожа от холода. Хельга вышла с час спустя, легко, словно летая. Выдержала переэкзаменовки. Справка у нее на руках.

В ту ночь мама сшила Хельге плиссированную юбку. Хельга болтала с очень странным видом. В конце концов она уснула от усталости. Я просидел с мамой до поздней ночи.

Назавтра пришло заказное письмо из канцелярии раввина с извещением о том, что члены общины обязаны явиться во вторник в пять часов во двор синагоги.

— Что у меня общего с ними? — намеренно-сухо спросила мама.

Целый день мы не вспоминали про это извещение. Слово нас оно не касается. Мама испекла творожники. Как если бы для какого-то события. Во вторник мы оделись в праздничное и пошли. Мы не знали, до чего короток путь от нашего дома до синагоги.

Двери были открыты, перед ними, во дворе стояли несколько людей в зимнем, с зонтиками в руках. Словно торговцы в дверях оптового склада. В их виде не было ни малейшего великолепия, одна какая-то нервность, с которой они переминались с ноги на ногу. Никого из них мы не знали. Хельга спросила, состоится ли тут какое-нибудь торжество, и мама сказала рассеянно, что она все в этом уверена.

Ровно в пять пришел раввин. На нем было темное пальто, белая квадратная борода придавала его облику непреклонный вид. Он подошел к входу в синагогу и жестом предложил войти. Люди медленно и неохотно вошли внутрь. Свет, падавший из верхних окон, придавал помещению холодную торжественность. Раввин приблизился к шкафу со свитками Торы и с минуту постоял перед ним в молчании.

— Зачем мы здесь? — спросил кто-то шепотом, точно в изумлении.

Ответа на свой вопрос он не получил.

Раввин снял пальто, пошел к переднему пюпитру, подвинул его машинально, будто рука была приучена к этому движению. И сел под пюпитром. Несколько женщин стояли в дверях, вглядываясь в темноту. Они осторожно двинулись внутрь, словно явились посредине службы. Хельгу знобило, и мама взяла ее дрожащую руку.

— Почему ты дрожишь? — сказала мама. — Экзамены уже позади.

Примерно через час двери затворились. Зажгли несколько ламп под куполом. Раввин, точно ему подали знак, встал с места. Он подошел к большому пюпитру перед шкафом и зажег две свечи.

Спокойно и неторопливо заговорил он о еврейском еди-

нении, закаляющемся в бедствиях. Слова слетали с его уст радостно и мерно. Словно не заказными письмами мы были вызваны сюда, а явились по собственной воле и желанию для уединения с Всевышним.

Речь его длилась долго. И его голос, голос старика, перекатывался, полный мольбы и порицания, и огромной силы. Внезапно створы запертого входа распахнулись и внутрь кубарем влетела элегантно одетая женщина. Она разинула рот, словно приготовившись завопить, но, увидев раввина на помосте, так и осталась с открытым ртом, накренилась, упала на пол и поползла на четвереньках к задним скамьям. Все остолбенели. Мама бросилась к женщине на помощь. Женщина поднялась на ноги и прогнала ее сердитым жестом.

Раввин это происшествие игнорировал и продолжал говорить. Его голос теперь гремел. Он говорил о минувших временах, об упадке и о раскаянии, которому предстоит произвести в нас полный переворот.

Одного за другим швыряли внутрь людей. Одни раненые, другие в домашнем платье. Два мальчика со школьными ранцами. Раввин сошел с помоста и засел в своем углу. В свете, лившемся с высоты, люди словно уменьшились. Но никто не шел к выходу колотиться в запертые двери — злоба была устремлена вперед, к передним скамьям, точно они были повинны в несчастье.

— Где раввин? Где этот преступник? — прокричал кто-то.

Мама стояла подле нас высокая, гордая, с каким-то ледяным спокойствием. Будто страх больше не имел над нею никакой власти.

Вслед за этим произошел переполох, как в клетке. Старые слова, служившие некогда для различных нужд, носились в воздухе, как хлопья копоты. Гнев был обращен на раввина. Раввин не пошевелился. Точно понимал, что теперь судьба его решена.

Лампы под куполом погасли одна за другой, и только две свечи на пюпитре стремили во мрак свои язычки. Теперь стали обнаруживать себя взгляды, злобные взгляды. Взгляды, которые уже знали правду, но не смирились.

– Я здесь в жизни не бывала, – горько разрыдалась женщина. – Почему я здесь, за что?!

– Еврейка, не так ли? – шепотом проговорил мужчина, точно подстрекая.

Двери входа захлопнулись за нами, и мы стали узниками в этом храме, где ноги нашей никогда не было. Хельга плакала, и мама не утешала ее. И среди злобных слов были и слова, гвоздями вонзавшиеся в нас, в потаенное наше несчастье. Кто-то знал, что отец нас бросил и проживает в Вене у баронессы. Кто-то назвал даже имя баронессы. Другой со значением добавил:

– А как же. Ведь все из-за этих развратников. Из-за декадентов.

– Среди нас и мамзерка* присутствует, не забудьте, – пыхнула женщина.

Мама замахнулась зонтиком с криком:

– Торговцы!..

Эти голоса были, как видно, для отвода глаз. Злоба на раввина росла и росла. Сомневаться не приходилось. Над ним учинят расправу этой ночью.

Раввин не просил пощады. Он сидел в своем углу, закутанный в талит**, и это еще утяжеляло злость и ненависть к нему. Свечи погасли, из верхних окон пахнуло крошечным мраком. Мы сидели на полу, мама, Хельга и я, прижавшись друг к другу. Мы видели, как торговцы поползли к шкафу. Раввин не кричал. Всю ночь мучили его: грубые голоса раздирали тьму, точно тупыми пилами.

И, когда верхние окна засветлели, раввин был уже простерт на полу, в ссадинах, тяжело дыша. Мучители убрлись в угол и сидели там, поджав под себя ноги. Раввин не кричал и никого не обвинял. На верхние окна садился снег. Потемнело. Мама сняла с себя шубу и закутала нас. Тишина, что устанавливается напоследок, когда все кончено, соединила людей на полу. Никто больше не указывал на другого. Никто больше не бередил потаенную нашу рану. Ненавидящие взгляды померкли. Зрачки словно

* Мамзерка – здесь незаконнорожденная.

** Талит – молитвенное покрывало.

обесцветились. Пар от дыхания людей заполнял чужое место. Кто-то зажег папиросу трясущейся, как у заключенного, рукой. Женщину рвало. Лицо у раввина было красное, как обожженное. Никто не подошел к нему просить прощения. Мучители сидели, поджав ноги, и не сводили тусклых взглядов со своей жертвы. Назавтра мы уже были запаerti в товарном составе, который мчался на юг.

В конце апреля Бруно вернулся в свой город, туда, где родился. Поезд из Вены в Штальгейм был переполнен. Рядом сидел коротышка-еврей в черной ермолке и лепетал по-немецки с чужим акцентом. Бруно старался не обращать на него внимания, но словоизвержение незнакомца от этих стараний усилилось. Он повествовал о себе, своих делах, о жене и дочерях.

Поезд мчался на север. Сосед поел, произнес благословение, исписал арифметическими выкладками узкие бумажные полоски. Затем снова принялся бормотать. Словно Бруно доводился ему младшим компаньоном в делах, а быть может, и в несчастьях. Пассажиры в вагоне следили за его чужими ужимками, но взгляды ему, по-видимому, не мешали. Он громко разговаривал и точно жевал слова.

— Не понимаю, — сказал Бруно, не удержав язык.

— Неважно, — сказал сосед с невнятной какой-то улыбкой. — С тех пор как кончилась война ездю тут, двадцать с лишним лет. До сих пор не видал еврея на этой линии. Маршрут из самых захолустных.

— Я обязан отчитываться перед всеми, что ли? — раздраженно спросил Бруно.

Незнакомец втянул голову в плечи:

— Это у меня нечаянно. Простите. Не вмешиваюсь в чужие дела.

В соседних купе крепко выпивали. В дверях вагона пьяный распевал скабрзные песни. Окна были открыты,

но запах пива не выветривался. И вместе с хмельным духом плыли местные словечки, так хорошо известные Бруно.

Вернуться домой и сидеть рядом с коренастым евреем, который носит черную ермолку и вся внешность которого — олицетворение незыблемости, практичности и уродства, — такое не снилось Бруно даже в самом дурном сне. Не по вкусу ему были и скабрзные песни, но соседство еврея донимало его больше. Если б не теснота, он переменял бы место. Торговец вынул молитвенник и помолился. Затем сказал шепотом:

— Я не хотел вас обидеть.

— Понимаю, — сказал Бруно, — я на вас не сержусь.

— Я рад, — сказал сосед, и на его сытой физиономии выразилось раздражающее удовольствие.

Поезд мчался. В окнах трепетали тени. Никакие воспоминания не проклевывались. Тонкая пустота расковыривала его, точно сверлила пробку. Пальцы барабанили в такт песне, гремевшей из соседнего вагона.

Долгие годы он предвкушал эту поездку, но все вышло, разумеется, по-другому. Словно завела его сюда одна только спешка, безо всякого участия с его стороны. Во всей этой тряске не было ничего реального, кроме еврея, уродливого до ужаса. Из страха перед скрытой неприязнью Бруно еврей, сколько мог, сжался, сократился над своим чемоданом и закрыл молитвенник, словно от дурного глаза.

— Откуда вы? — не справился он со своим любопытством.

— Из Иерусалима, — отрубил Бруно.

— Да неужели?! — У еврея отвисла челюсть. Как если бы на слове его поймали, или, того хуже, — на попытке всучить порченый товар. — Никогда бы не поверил, — пробормотал он. Его лицо глупо ослабилось:

— А я, к сожалению, торчу здесь. Дела хорошо идут. Сил не имею бросить. Смешно, но правда. Именно так, а не что-нибудь иное.

Бруно не отвечал.

— Человек есть всего лишь насекомое, — сказал еврей. — Не только тело продаст за эту вздорную похлебку. Мои

друзья оказались посильней меня: они предпочли жить в туде и невзгодах. — Последние фразы он произнес отчетливо, выбирая слова, надеясь добиться от Бруно ответа. Бруно не отвечал.

— Я остался здесь. Жена просила остаться. Не виню ее. У меня храбрости не хватило. Был, правда, один момент, в сорок восьмом, отлично помню, как сказал жене: я собираю чемодан, мы репатрируемся. Но что-то во мне, по видимому, рассчитывало иначе. Не хочу взваливать вину на жену. Человек пустое место.

Поезд замедлил ход. Среди зеленых куп показались приземистые дома Штальгейма. Знакомая тень не взволновала Бруно. Коммивояжер сложил черное пальто, взял свой жалкий чемодан и не попрощавшись пошел к выходу. Его фигура поблекла, чемодан слился с выцветшей вагонной дверью. Словно не человек, а блуждающая тень, которая ищет стенку, чтоб распластаться. Бруно хотел было протянуть ему руку — рука отказалась повиноваться. Спешка, стучавшая в висках, шумела теперь в голове, как насос на форсированном режиме. Еврей-коммивояжер снова обрел реальность лишь снаружи на перроне: большое насекомое, простирающее вперед свои лапки. Постоял мгновение, затем быстро запетлял между немногими пассажирами и пропал. У Бруно от встречи с коммивояжером остался осадок унылой неловкости.

В вагоне-ресторане было полным-полно и тяжело парило запахами пива. За стойкой надтреснуто хохотнула буфетчица: "Вишь какой, что мне сделал, а тебе и дела нету!" Как видно, она адресовалась к мужу, но тот был слишком занят кастрюлей, содержимое которой кипело и дымилось.

Станции мелькали одна за другой. Кончились равнины. Поезд пересек узкое ущелье и поднялся на возвышенность. Пассажиров оставалось все меньше и меньше, и пустые вагоны метались, как пьяные. Дремавший в соседнем купе пассажир проснулся и спросил, далеко ли еще до Кноспена. Его красное, налитое пивом лицо раскрылось на мгновение, точно гнилой арбуз. Далее потянулись горные пастбища, пятнистые коровы, грузные кони. Поезд приближался к месту назначения. Крестьянские дома, за века вросшие в

эту гучную, зеленую землю, стояли, обвитые красным плющом. Бруно знал их, как рубцы на собственном теле. Потускнело, и поезд замедлил ход. Внутри ворвались зеленые тени, вагон загредел глухим тормозным грохотом и остановился. "Кноспен!" — послышался крик кондуктора. Сигнальное крыло семафора при этом крике закрылось.

На станции было пусто. Тень колокольни пересекала площадь во всю длину. Бруно протасил за собой чемодан по перрону и остановился. Теперь дело начало проясняться, хотя и не с полной четкостью. Ногами еще владел ритм вагонной тряски. Брусчатка на площади, лишь глаже отполированная, расстилалась в знакомом рисунке. Дверь главного пакгауза была раскрыта, и в ее растворе была небрежная ленца, свойственная дверям старым и массивным. Отсутствовали только голоса, и это придавало знакомой картине холодную прозрачность.

Бруно заулыбался. Словно обрадовался, что ноги несут его. Гипсовое изображение куста герани стояло так же странно и неестественно, как стояло всегда, — глыба дешевой декорации, выкрашенная в темно-зеленую краску. "Ну, так или иначе", — молвил Бруно почему-то. Слова пропали вместе с бурной лихорадкой, осталось одно утомление. На Бруно словно панцирь вырос. И вдруг он понял, что спешить некуда. Было желание заглянуть внутрь пакгауза, потрогать старую, ленивую дверь, но эту маленькую страстишку он подавил в угоду другому желанию, направившему его ноги к выходу со станции.

Путь в город отсюда всегда проделывали на экипаже. Между станцией и городом лежал плодородный сельский край. Тут жительствоваала природа, питающая маленький город фруктами и овощами, но главное — запахами земли. Для Бруно это был неисследованный край. Его радовало, что эти места не обязывают его к взволнованной встрече с ними. "Ночь на селе", — проговорил он, повторив слова, которые время от времени слышал в детстве. "Провести ночь на селе, что может быть лучше этого".

Локомотив дал гудок и отправился своей дорогой. На рельсах осталось несколько отцепленных товарных вагонов.

Бруно стал снова разглядывать тающую тень колокольни. Редкие сумерки спускались, точно прозрачная ширма. За станцией расстилалось село квадратами пастбищ и полей. Река, протекавшая также и через город, неслась тут с обновленной стремительностью. С расстояния едва просматривался Кноспен; схваченный обручами зелени и дубрав.

Летние сумерки, не угасающие здесь допоздна, мерцали по-прежнему. Возле сельской гостиницы стояла лошадь. На крыльце дремала собака — сельский вид с дешевой открытки. Бруно, однако, казалось, что все здесь замерло в вопросительном недоумении.

— Найдется ли постель для путника? — спросил он на местный манер.

— К вашим услугам, — ответила женщина. — Вечерним поездом приехали?

— Почтовым.

Немудреные знакомые слова, которыми он давным-давно не пользовался, обдали его, как холодная вода. Гостиница была пуста. Твердый деревянный пол пружинил под ногами, как ковер. Комната была просторная и с видом на сад, посередке широкая кровать, стены увешаны картинками, настриженными из иллюстрированных журналов, на столе пробочник и перочинный нож с множеством лезвий. В углу мерцал свет угасающего дня.

— По делам? — спросила женщина без церемоний, по местному обычаю.

— Разумеется.

— Вечером будет выступать певичка и потеха будет немалая.

— Как звать певичку? — попытал он свою способность изъясняться.

— А бес ее знает. Она раздевается догола. За ней волочатся все, от мальчика до старика.

Она разговаривала с ним просто, без ужимок, как со старым знакомым. Рассказала ему про какого-то озорника, который схватил певичку голой, выволок ее из Народного дома и в таком виде повел по улицам. Она не стеснялась в выборе бранных слов. И Бруно стало казаться, что не годы

утекли с тех пор, как он уехал отсюда, а был как бы короткий отпуск, недолгий сон, и вот — проснулся.

У входа в Народный дом уже собралась толпа. В дальнем верхнем конце улицы показалась коляска певички и покатила вниз. Мальчишки вскарабкались на балконы и телеграфные столбы и закричали хором: "Лилиан! Лилиан!" Коляска с четверкой разукрашенных коней в запряжке уткнулась в живую запруду. Кучер стегал кнутом, но толпа не раздвинулась.

Медленно скользя, коляска все-таки протеснилась к входу в Народный дом. Кучер слез с облучка и своими огромными ручищами проложил ей дорогу. Мальчишки орали. Точно укротитель медведей, кучер сосредоточенно охранял свою хозяйку. Певичка сошла с коляски, и крики слились в мощный стон: "Ли-ли-ан!" Кучер запер за собою двери, окованные железом.

Но протяжный вой, топот и свист вскрыли и железо запертых дверей. Сломали дверь черного хода, и толпа — мальчишки и мужчины — втиснулась в брешь. Кучер увидел, что ему не устоять против напора, убрал руки, и обе двери были взяты приступом.

Стемнело. У киоска собрались несколько детей. Билетер сидел без дела у входа в кинотеатр, в пивном погребе старики прикладывались к кружкам. Бруно решил повспоминать, но не сумел вызвать никакого воспоминания. Первое чувство близости рассыпалось, и плечи ему свело холодом, точно от мокрого компресса. Он знал: здесь все знакомо, лишь поросль папоротника выросла на стенах. Деревья — их он различал отчетливо. Он никогда их не видал во снах, но именно деревья вырезались реальностью трепещущей светотени: орех возле кинотеатра и шпалеры каштанов на бульваре.

— Почему бы вам не пойти на первый сеанс, он удешевленный, — позвал его билетер.

— Устал с дороги, — сказал Бруно, как извиняются перед знакомым.

— С ума всех певичка свела, даже стариков, — сказал разозленно билетер и погасил огни. В зрительном зале не было, как видно, ни души.

Сгушалась темнота, и Бруно остался на месте. Орех отбрасывал свои тени на брусчатку, и с гор задувало влажным ветром. С этой точки можно было мерить ночные круги, вздымающиеся ввысь. Сколько отсюда до Кноспена — четверть часа, не больше. Был он тогда мальчишкой, и валил густой весенний снег. Они с матерью и отцом вернулись из Вены, и экипажи, которые должны были их дожидаться здесь, все не появлялись. И отец, облаченный в шубу, в странном расположении духа, сказал, показывая рукой на бульвар: "Сколько отсюда до Кноспена — четверть часа ходу, не больше". В голосе у него звучало недоумение.

Знакомый голос вывел Бруно из усталого оцепенения. Голос заглох, воспоминание погасло. Бруно поплелся в гостиницу. Лошадь отправили в стойло, пес дремал. "Добрый вечер", — сказала в дверях хозяйка.

В маленькой столовой, украшенной розами, царила какая-то дешевая приятность. Меню хозяйка гостиницы ему не подала, а вместо этого перечислила блюда, называя их местными названиями. Попутно она не переставала ругать певичку, которая развращает молодежь. Две служанки громко болтали. Бруно следил за их вертлявой походкой. Они, возможно, полагали, что сейчас свистнут или закажут, но заказ запаздывал, и они зашебетали еще громче. Хозяйка гостиницы спросила, не угодно ли ему, чтобы она поставила музыку, и Бруно кивком выразил свое согласие.

Когда Бруно поднялся к себе в номер, еще слышен был шум в Народном доме и как там постепенно стихает сутолока. Он разделся и вытянул ноги. Ритмичная тряска, доведшая его досюда, нахлынула на него снова. Из всего, что он повидал, он вспомнил лишь большую красную голову, насыщенную пивом и колбасой, что время от времени раскрывалась, точно гнилой арбуз.

И встреча на следующий день отнюдь не была волнующей. Он пошел вперед по узкому прилизанному бульвару, где две знаменитые белые часовни стояли, точно две обители вечности. Незамутненное небо изливало мирный свет. Акация на углу Габсбургского парка абсолютно не изменилась. Не выросла, не стала толще. Акация цвела.

Он пошел дальше. Почему-то он выбрал ближнюю дорогу, излюбленную в гимназические годы. Неподалеку от дома остановился, будто понял, что зашел слишком далеко. Снял пиджак и прирос взглядом к двум колодам, срубленным под сиденье и стоявшим одна подле другой. Это были сырые деревянные колоды, выкрашенные в темно-зеленый цвет. Краска расплзлась потеками по коре. На этом углу это была единственная перемена — все прочее как было, так и осталось: ограда, одинокий металлический стул.

В воротах гимназии стояли несколько школьников. Вторник сегодня, двенадцать часов дня, вспомнил Бруно. Кончились уроки латыни. Теперь все в гимнастическом зале. Те двое, что возле памятника, освобождены, по-видимому, по состоянию здоровья. После зимней простуды. Или страдали в детстве рахитом.

Он повернулся и пошел к кафе "Цветочный букет". В свое время это было место встреч интеллигенции, приезжавшей сюда каждое лето на отдых, но прежде всего — для бурных споров. В большинстве евреи, конечно; за ними во все концы увязывается беспокойство. Теперь в кафе было пусто. На круглых столиках стояли синие

вазы, распространявшие сияние. У заднего хода стояли двое и обсуждали параграфы устава страхового общества. Они громко разговаривали. Бруно остановился неподалеку от окна. Что-то все же изменилось, подумал он. Диагональный свет так же пересекал пол под тем же углом, однако дорожка света на полу была значительно шире, так как расширили и починили заднее окно. В самом кафе не видно было никаких перемен. Паркет.

Воздух благоухал яблоневым цветом. Лепестки падали к ногам двух стариков, которые сидели на бульваре, посаывая трубки. Пышнотелые молодые женщины подставляли шеи солнцу. В Бранденбургском парке бесились большие собаки, но садовник не вмешивался в свалку. В гимназические годы Бруно задерживался здесь. Красотой этот парк никогда не отличался. Было в нем несколько кустов ракитника, взбиравшегося на стены, и осенью веяло мягкой печалью от его облетевших веток. Здесь он встречал иногда Гирцель, девочку из рабочей семьи, которая недолго пробыла в гимназии из-за латыни и математики, но, главным образом, из-за своего отца, обозленного работяги, лупившего жену и трех дочерей палкой от мотыги. Еще в гимназии ее пышное, знойное тело мutilовало ей рассудок, а когда она бросила учебу, ее часто встречали в Бранденбургском саду в обществе курящих мужчин.

Бруно вернулся к воротам гимназии. На скользких мраморных ступенях уже никого не было. Сторож в синей куртке ходил под крыльцом, и в глазах у него стили изнеможение и скука пятого часа пополудни. В это время, вспомнил Бруно, открывают библиотеку классического отделения. Старик-учитель латыни задает там библиографические задачи. Среди физиономий, которые проплывали мимо, он не узнал ни одной. "Место не изменилось, но зато люди, по-видимому, да", — проговорил он рассеянно, перебирая готовые слова, как четки.

И пока он так стоял, взгляд его сместился, и Бруно обнаружил, что дом напротив, многоэтажный дом Розенбергов, обзавелся новым плющом, винно-красным, верхнее окошко выкрашено в тусклый зеленый цвет. Бруно даже в жар бросило от знакомого вида. При ближайшем рассмот-

рении он открыл, что и контур дома изменился. Добавили к крыше новый скат, сплошь заросший плющом. В стену фасада было вмуровано для красоты несколько рядов глазурованных изразцов.

До выхода на пенсию доктор Розенберг служил окружным ветеринарным врачом. Изо дня в день он с женой отправлялся в "Цветочный букет" пить послеобеденный кофе. Высокие люди с походкой, от которой веяло суровостью. Они никогда ни с кем не заговаривали, да и друг с другом редко говорили. В последний день депортации они повесились на фасаде, на той самой стене, где сейчас красовались новые изразцы. Их трупы провисели до вечера; потом приехали пожарные и перерезали веревки.

Бруно снова повернул в парк. Ноги его похолодели. Этой дорогой ходили Розенберги в "Цветочный букет", мерным шагом, погруженные в свое безмолвное бытие; и когда они являлись на место, Розенберг поднимал вверх свою трость — согласованный знак того, что время нести кофе. Не так их лица вспомнились теперь Бруно, как мерная их походка. Ее ритмический, жесткий такт передался его ногам. Он вцепился в воспоминание и сказал себе: был ветеринар и вышел на пенсию, и на этой стене, где сейчас выложены изразцы, они покончили с жизнью.

На вывеске бара "Генриетта" уже плясали вечерние огни. Потемнело; Бруно, как видно, забыл: небо в это время года переменчивое, чуть ли не каждый час другая погода, и порой город мрачнеет от мимолетной тучи. Бар открыли, по-видимому, раньше обычного — столики в нем были уже накрыты. В носшибанул запах дерева, пропитанного пивом. Согнувшись, он вошел и остановился за порогом неосвещенного входа. "Вы пришли вовремя, — послышалось из глубины, — милости просим". Голос был женский, тонкий, не лишенный домашней приветливости. Тотчас появилась девушка и протянула руки, как при встрече с человеком, которого ждали. Бруно обвел взглядом места на помосте и столики внизу и нерешительно посмотрел на девушку.

— Я бы рекомендовала в левом углу, это место у нас резервировано для ценителей.

Низкая, смахивающая на подростка, и никакой красоты или света не было в ее лице. Она разговаривала с знакомым акцентом, употребляя слова, которым выучиваются девушки ее типа.

— Нездешний? — спросила она.

— Да!

— Но вы кажетесь мне ужасно областным.

— Я издаю, — сказал Бруно, опешив на момент от такого нового пользования словом "областной".

Девушка не выразила никакого удивления. Она принесла джин с соленой закуской и сказала:

— Надеюсь, вам у нас понравится. Есть новая программа, лилипуты из Сингапура. Две милые парочки.

Бруно выпил и налил еще.

— А певичка где? — спросил он.

— Я, — сказала девушка, — пою в антрактах. И лилипутам песенку сочинила.

Слова, которыми он век не пользовался, шли Бруно на язык, и он радовался сбереженным старым словам.

В баре прибывало народу. Негромкие шепотные звуки наполнили помещение шелестом и запахом нового платья.

— Поехал — и вот я здесь, — сказал он себе словно невзначай.

За ширмой появились певцы. Это были четверо темнокожих лилипутов, одетых в синюю униформу. Они вышли на эстраду. В приглушенном свете они казались еще более крошечными. Заиграл саксофон, издав протяжный вопль, и лилипуты дружно принялись отбивать чечетку.

— Ну, разве не милашки? — спросила девушка.

Саксофон понесся с переливами. Лилипуты со стуком разбежались в стороны; за ними метался маленький прожектор. Обнаружилось, что бар вовсе не так мал, каким он казался со стороны входа. Переполнены были все углы.

— Простите, я вас где-нибудь не видела?

— Нет, этого не может быть.

— Но один раз точно, так мне кажется. А может быть, ошибаюсь.

Бруно рассмеялся:

— Я уехал отсюда очень много лет тому назад.

— Раз так, значит ошиблась. — Она спрятала лицо. — Вечно я ошибаюсь.

— Мы все делаем ошибки, — утешительно сказал Бруно.

— Но я отличаюсь этим. — Была какая-то прелесть в этой скромной откровенности. — Откуда вы? — снова попробовала она разведать.

— Из Иерусалима. Если вам это что-нибудь говорит.

— Момент, — сказала девушка. — Одну минуту. Кажется, начинаю соображать. Значит, вы, как бы это сказать..

— Попросту скажем, еврей.

Девушка и рот раскрыла.

— Так я и знала, — сказала она, прыснув со смеху.

— Что вы знали?

— Было у меня такое чувство. — Она взяла его за руку. — Я тоже, как бы это сказать... бабушка моя была еврейка, Региной ее звали. Не хотите ли провести со мною вечер в другом месте?

— С удовольствием.

— Еще две песни, и я здесь свое отработала. Я вижу, что лилипуты вошли в раж. Пускай делают свое. Хозяин угостил их сверх меры. Вчера ленивы были жутко. Хозяин из них веревки вьет.

Лилипуты куролесили. Гости покатывались со смеху и швыряли им леденцы и монеты; под конец они уцепились за потолочные балки и в таком положении запели фривольные песенки.

— Странно, как быстро они выучили немецкий.

— Сколько лет вы работаете тут?

— Кажется, лет шесть. Я не пошла в гимназию. Отец считал, что я неспособная к учебе. Правда, я не слишком старалась. Вы меня за это не осудите?

Сумбурная музыка закончилась. Девушка вскочила на эстраду и запела про розы и про любовь. Лилипуты, соскользнув с потолочных балок, скучились в углу, и с трудом переводили дух. Хозяин бара поднес им напитки с солодкой, и они, сидя, посасывали с серьезным видом, утирая свои потные крошечные лбы.

Первое отделение окончилось. Девушка надела узкий жакет и направилась к выходу. Бруно был уже пьян.

В мозгу его клубились алкогольные пары. Вечер был ясный, и яблоневый цвет осыпался легко, как снег. Ничто не изменилось, подумал он, и деревья тоже с тем же легким наклоном в южную сторону.

— Где вы живете?

— На станции, в "Веселой лошади".

— Далекое. У меня своей комнаты больше нету. Экономлю. Комнаты в последние годы стали безумно дорогие; а мне ведь нужна комната с отдельным входом. Я люблю мужчин смешанной породы.

— Они чем-нибудь отличаются?

— Не знаю. Чистокровные австрийцы — хамы. Разве не верно?

— А тех тут много? — поинтересовался Бруно.

— Считанные. Один мне попался месяц тому назад. Молодой парень, замкнутый до ужаса. Нахлестался коньяку, от выпития лилипутов пришел в ярость и поколотил хозяина. Скандал был, настоящий скандал; с виду не скажешь, что не чистокровный австриец, но я догадалась. Австриец не станет пить так, как он пил. С годами учишься различать. Так куда пойдём?

— Куда хотите.

— Раз воля моя, то я бы хотела погулять вдоль реки. Давно там не гуляла. В школе, мне кажется, это называлось экскурсия на лоно природы. Или я ошибаюсь? Если я ошибаюсь, вы меня поправьте.

— И что с тех пор?

— С тех пор не гуляла. У мужчин здесь нету любви к природе.

— А курортники не приезжают сюда?

— Очень редко. Кроме нашего бара, нет аттракционов. Вы сказали Иерусалим, не так ли? Мне кажется, что его зовут Святым городом. Ошибаюсь? Поправьте, если ошибаюсь. Никогда не была сильна в истории.

— Нет, верно.

— Бабка Регина говорила, что евреи добры к людям. От нее у меня это колечко. Кстати, как вас зовут?

— Бруно.

— Мое имя Брунгильда. Близкие люди зовут меня Гиль.

Разве не красиво на реке в такое время? Бабка Регина была очень богатая женщина. У всех евреев большие деньги. Вы поправьте меня, если ошибаюсь. Отец говорил, чтобы мы не щеголяли бабушкиным богатством. Разве богатство считают за порок? Поправьте меня, если ошибаюсь.

— Все верно.

— Я рада. Но вы почему грустный?

— Устал, — сказал Бруно и притянул ее к себе. Она зарылась к нему в пальто и поцеловала его в шею.

— Грустные они, полукровки, но я их люблю. Бабка Регина была особенная женщина. Человек должен расширять свой кругозор, говаривала она. У нас таких слов не употребляли. Отец говорил, что у бабки Регины свои слова. Вы меня прощаете?

— За что?

— За то, что у меня нет комнаты.

— Ну, и что из того? Погуляем.

— Я бы хотела вас отблагодарить.

— За что?

Бруно знал их прекрасно: и дурость, и наивность, и лукавство в одной женской укладке.

— Я не поняла, — сказала Гиль, — вы здесь с визитом?

— Вроде — я ведь родился тут.

— Приятнейшая неожиданность.

Всей сложности она не понимала совершенно. Вытянула руки, словно за соскользнувшим вниз знакомым предметом. Огладила на себе платье.

— Вы здесь найдете, конечно, многих друзей молодости. Разве это не трогательно?

— Я еврей, — сказал Бруно слегка искусственным голосом.

— Ведь вы богатый. Вероятно, ездили по многим странам.

— По всему миру, — рассмеялся Бруно.

— Замечательно. Я знаю. Евреи всегда преуспевают. Они умные.

По реке проплывали лодки, светлел в ночи полевой простор. Гиль зарылась в его пальто, по известной их манере

хватать через край. И все-таки в нем проснулось, он чувствовал, какое-то странное волнение.

— Хотела бы я вас познакомить с моей сестрой, с Эвелин. Она два года училась в гимназии. У нее есть удостоверение.

Заметно было, что встреча с чужаком привела ее в некоторое замешательство. Она искала подмогу на стороне, у своей старшей сестры.

Время было за полночь. За Гиль был еще маленький должок бару — полуночная песня. Гиль извинилась, говоря, что отныне она никогда больше не станет связываться с такими поздними обязанностями. Вернулись кратчайшим путем, через розарий. На освещенном помосте скакали под саксофон обе эстрадные парочки. Личики у лилипутов были багровые от напряжения.

— Сегодня вам не было от меня никакого проку. Но я зарезервирую для вас чудный вечерок. Вы же на меня не сердитесь?

— Нет. Хороший был вечер.

— Вы меня осчастливили, — ухватилась она снова за известные ей слова.

Их запас, он знал, невелик у нее, и она обслуживает всех одними и теми же словами; и в то время, как он полез в карман платить, она ускользнула в коридор. Гиль махнула рукой — этот жест был ему незнаком. Словно сказала — не надо! Бруно остался на месте.

— До завтра, — сказал он.

У него ноги подкашивались от усталости, но голова была ясная. Постояв у часовни, он пересек узкий бульвар и, не почувствовав расстояния, обнаружил себя уже в гостинице.

— Хорошо время провели? — спросила хозяйка на местный манер.

— Превосходно.

— Ваше счастье. Тут весь вечер крутились мальчишки. В кинотеатре два окна выбили. А в Народном доме свалка была. Все из-за певички, уличной этой девки. Лучше в город ехать. Там, по крайней мере, культура.

На следующий день широкие улицы залило весенним солнцем. Высокие деревья отбрасывали свои влажные тени на ограды, дома стояли в прохладном утреннем безмолвии. Уже два дня здесь. То же освещение, и та же упорядоченная тень, протянутая от дома к дому, точно по линейке. Даже старые крыши, закутанные в зеленый плющ, наклонены под тем же тупым углом. Только под воротами стелется какая-то новая, светлая, дымка. Кроме этого, никаких перемен, ни одно дерево не выкорчевано со своего места. Стоят, как стояли, даже каменные дорожные знаки с обозначением старых мер. Если бы не свет солнца, не холодная явь, это было бы подобно отчетливому сну, в котором осторожно и точно раскрашены все подробности, но холодная явь реальна и неопровержима. Здесь ты, Бруно, здесь ты.

Возле пекарни стояли две старухи. Свежий хлеб в их руках распространял старинный и ароматный покой. "Еще не вынули из печи маковники", — отчетливо услышал Бруно, слова доходили до него, словно всплывая из бездн времени. "Опоздали сегодня. Пекарь вчера напился", — отчетливо слышался ответ. Они завернули в переулок, унося тонкую тень с собой. Ничто не двигалось, была лишь какая-то пронзительность света и теней. Точно много-много лет тому назад.

Завороженный этими мелкими, упорядоченными тенями, он вдруг заметил, что на углу стоит человек. Ссутуленная слегка спина, в руке трость. Человек казался сосредоточенным, пока не стало ясно, что он просто не собирается дви-

гаться. Бруно подошел поближе. Поза человека, его окоченелая стойка не вызвали в мозгу у Бруно никакого воспоминания. Он был готов свернуть в сторону, на юг, где утренний свет раскинулся двумя широкими дугами, и он так и сделал — как вдруг сообразил: да это же Брум, не кто иной, как Брум!

Человек поворотил спину, и тень подле него слегка переместилась. Бруно направился к нему. Он! Никаких сомнений! Его широкий лоб, его брови, усы поперек лица. Да и высокие сапоги виднелись из-под застегнутого пальто.

В те злосчастные дни, в последний перед депортацией год, во время жуткого сумбура, когда люди меняли веру, продавали лавки, бросали любимых жен, дурманили себя алкоголем, — в те злосчастные дни Брум женился на прислуге, которая работала у них в доме. После этого несколько недель не прошло, как состоялось чудо: Брум-худышка, Брум-постник обернулся в какого-то другого Брума. Рост прибавился, плечи расправились, на лице выросли пышные усы; он сидел с своей молодой женой в погребке "Белая лошадь" и хлестал пиво. Он, который отроду слова не выговаривал, вел с нею разговоры крича, точно она была глухая. Даже в те злосчастные дни вид этой парочки вызвал в городе изумление. "Ну, кто бы поверил", — говаривал отец Бруно. Изю дня в день они шествовали мимо окна спокойным, уверенным шагом по направлению к погребку, кладезю пива. Кто мог подумать, что именно этот человек с тонкой и болезненной психической организацией, вечный, казалось, холостяк, совершит невозможное. При жизни перелицуетя в австрийца-скотовода, да так, что все слабовольные, тонкие черты исчезнут, как не бывали. Он это сделал, причем самым совершенным образом. Но и после, когда стало еще страшней и на улицах загремела дешевая музыка и злоба, — и тогда он изю дня в день отправлялся с женой в "Белую лошадь", спокойной, уверенной походкой. Словно в жизни не был тем, кем он был. Странно. Никто не привязывался к ним. Будто все поняли, что прежний Брум умер. Новый — уже не Брум больше.

— Господин Брум, — сказал Бруно громким шепотом.

Человек слегка повернул верхнюю часть туловища и вонзил глаза в Бруно.

– Вы обознались, – сказал он.

Его глаза задержались на лице Бруно еще немного, затем соскользнули. Бруно сделал извиняющийся жест, поклонился и пошел в сторону. Пальцы обожгло холодом. Словно дотронулся до предмета, стоявшего на дворе и налитого ночной стужей. Но он все-таки переборол себя и оглянулся. Человек стоял на том же месте, трость в его руке сохраняла прежний наклон. Только Бруно показалось, что человек сейчас согнется. Чуть махнув тростью, он вышел из тени и вошел в другой теневой круг, почти пропав из виду.

В "Цветочный букет", рядом, за углом, Бруно завернул почти машинально. От непоколебимого голоса Брума его пригвоздило к месту, и в такой безвыходности, точно ища куда спрятаться, он вошел. Здесь была тишина, какая царит лишь в старых деревянных домах. Бруно снял почему-то шляпу, и в ноздри ему ударил запах кофе с цикорием.

Сюда он ходил с мамой каждый вторник в ранние послеобеденные часы. Было это после изнурительных уроков латыни, когда уже ум заходил за разум. Во время этих незабываемых коротких походов обычно ничего особого не происходило, но они оставляли после себя долгую сладость, проникавшую в его сон вместе с парами цикория. По вторникам после обеда здесь сидели пенсионеры, погруженные в гордое одиночество; но прелесть сообщала этому месту его хозяйка – Лонка, она и ее славянский говор, так живо и жизнерадостно звучавший на фоне чопорной мещанской церемониальности. "Мальчик уже пьет кофе?", – бывало спрашивала она. "Кофе – и молока побольше", – говорила мама с нежностью. Лонка хваталась за голову: "Удивительно еврейское личико! Вот лицо, которое я люблю". – "Зачем вам публично выставлять мальчика на позор?" – шептала мама, подмигивая. "Мадам, – говорила Лонка, – нет лучше людей, чем евреи, я выросла среди еврейских студентов". – "Раз так, я капитулирую", – отвечала ей мама в тон. А Лонка говорила: "Моя страсть к евреям, мадам, не знает предела".

Он осмотрелся и обрадовался: ничего не изменилось.

Переднее окно, широкое, убранное голубыми домашними цветами, выражало естественную скромность, как всегда. Запах кофе стоял в воздухе, насыщенном его тонкими, незримыми испарениями. Здесь, как в старых кафе, были освещенные и полуосвещенные уголки. У переднего окна, украшенного голубыми домашними цветами, сидели они с мамой, сидели подолгу и слушали музыку.

Так он стоял и дивился, когда появилась старуха и сказала громко, как глухая: "Что мы принесем господину?" Это была Лонка. От ее пышных каштановых волос не осталось ничего, кроме редкого седого пуха. Уши обнажены, и рот, словно готовый разразиться потоком невнятной речи.

— Кофе с цикорием, пожалуйста, — сказал Бруно.

— С удовольствием приготовим, — сказала старуха и зашаркала в заднее помещение. В этот час за столиками никого не было. Щедро сиял обильный весенний свет. Позади сидели, бывало, отец с дядей Сало, ссорились или молчали; та, затененная часть помещения принадлежала к его сомнительным тайнам; переднее окно, широкое, убранное голубыми цветами, было секретом его и мамы, которым владели они одни.

— Кофе с цикорием, — прогундосила старуха, неся в трясущихся руках поднос, как старухи несут святыне образа в капеллу.

В те дни, такие юные и светлые, была Лонка стройна и молода, с неукротимой копной волос. В глазах у нее блестел задор трактирной девки, выросшей в трактире. И, когда приезжали гости из Праги, молодость ее расцветала цветением свободы. Австрийцев она не уважала. Переехать сюда ее уговорил ее муж, австриец. Она не могла ему этого простить.

По воскресеньям, когда муж отправлялся в объезд сельских харчевен у реки, поболтать в обществе друзей молодости, крестьян и фабричных, она давала себе некоторую волю. Подсаживалась к студентам и рассказывала им о студенческой жизни в Праге. Отец ее держал трактир возле университета, и студенты кутили у него до поздней ночи. Там она выучила несколько слов, которыми усиленно щеголяла. Муж воспоминаний ее не терпел, говорил презрительно:

”Жалкая пражская память”. В минуту освобожденности она призналась матери Бруно, что, не соблазни ее этот австриец, сиречь муж, она вышла бы за еврея. О евреях она говорила по секрету, с лицом, как у обманщиц, когда они кому-нибудь доверяют правду.

Он был совсем еще ребенком, когда в одну из суровых зим Лонка начала слишком часто прикладываться к бутылке, повела себя очень вольно и однажды объявила:

— Да здравствует великая чехословацкая республика, честь и слава еврейским студентам, за то что они дарят чешским девушкам изящную и секретную любовь!

Все ошалели. Деверь, брат ее мужа, попытался скрутить ей руки, но она с пьяных глаз продолжала кричать свое и тогда, когда ее заперли в туалет. Тяжелая была сцена. Мать Бруно попробовала вмешаться, но деверь разорался, завязал ручку двери веревкой и поклялся, что ей больше не выйти оттуда. С той поры Лонка очень переменялась лицом. Она редко выходила, и ее муж завел в своем заведении манеру зычного, крикливого разговора.

— Еще чашечку? — спросила старуха громко.

— Еще одну, прошу вас.

Уже два дня как он здесь. Эта ясность выше силы его восприятия. Поэтому он далеко не ходит. Сидит в центре городка, но и в центре все осталось, как было, знакомое до боли. В свое время не было тут ночных клубов. Были кафе и трактиры. Гимназисты отправлялись вниз в южный квартал и ловили там первую свою добычу, деревенских девок. На завтра они приносили оттуда спесивый блеск и много ненависти к евреям. На уроках религии, два раза в неделю, они смущали патера своими вопросами, пока тот не разражался горестным воплем: "Подонки!"

Несколько раз они и Бруно подбивали присоединиться к ним. Но, поскольку приманка была умышленной и злой, он держался в стороне от этих грязных ночных сборищ, происходивших возле железнодорожной станции. Конечно, он заплатился за свой отказ и вскоре заработал прозвище "еврейский трус". Верно, что ростом они были выше его, но зато он был куда более гибок, чем они, и на уроках гимнастики отличался в лазаньи по шведской лестнице.

Эти мелкие подробности, годами не всплывавшие в его памяти, выскочили теперь из своего тайника. Будто и не мелочи, поросшие травой забвения, а животрепещущие ощущения. В последние жуткие месяцы, когда он был изгнан из гимназии, а они, понадевав коричневые мундиры, все толпились у молодежного клуба, он сидел сиднем в своей комнате, сражаясь с трудными латинскими текстами. Сумятица была страшная, но его мать не сдавалась. Человек в конце концов не животное. И вот так, в то самое время,

когда все предвещало надвигающееся землетрясение, он ломал голову над задачками по алгебре и разбирал длинные, запутанные предложения. Такова была воля матери.

Он встал. На мгновение ему захотелось открыться Лонке, но тотчас же он сообразил: Лонка очень стара. Не стоит волновать в таком возрасте.

— Кофе был преотличный, — сказал он.

— Я рада. — Она повернулась и пошла прочь, не глянув на него больше.

Апрельское солнце светило теперь отвесно и затопило улицы. Белый яблоневый цвет наполнял воздух тонким холодным ароматом. Опять он увидел Брума. Широкие усы поперек лица, бритый подбородок; успел, по-видимому, сделать круг. Он сидел на скамейке. Сомнений в том, что это Брум, не было уже никаких. Но как добраться до него? "Брум! — был он готов взмолиться. — Меня зовут Бруно А. Я сын писателя А. Неужели вам не хочется перекинуться со мной словечком? Кроме вас, мне кажется, никто тут меня не знает. Я собой не владею от уймы знакомых картин!"

Брум сидел на скамье, голова опирается на трость, глаза смотрят прямо перед собой, спокойствие и никаких эмоций; но его сапоги все-таки выдавали что-то, было в них нечто от старческой печали.

Бруно повернул в сторону. Низкие дома, ухоженные и убранные, были лишены всякого тщеславия. Крыши выстланы провинциальным миром и тишиною. Именно такими он их помнил. Годы выросли, а они не переменились. В новинку лишь эта яркость. Не по его воле состоялось странное это возвращение. Приезд его состоялся по другому поводу, деловому, если можно так выразиться.

В 1965 году он получил два письма от двух знаменитых книгоиздательств, из которых он впервые узнал, что опять возобновился интерес к сочинениям его отца. Эта весть, дошедшая до него издавека, не доставила большой радости. В то время он был поглощен перипетиями ссоры с женой. Ссора была долгой и мучительной, как всегда, когда причин много и нет одной определенной. Он прожил несколько месяцев в метаниях между старыми своими муками и но-

вой смутной надеждой; и, не видя выхода, взял отпуск, собрал чемодан и отправился в Вену. А из Вены — сюда.

Не по его воле состоялось это возвращение. Что-то преданное и решительное в нем запечатало наглухо целую область его эмоций. С течением времени он научился жить без них. Так привыкают к парализованной конечности. Внезапные два письма, пришедшие издалека, прошили новой болью старые рубцы: отец. Отец! Позор, которого он коснуться не смел. Все годы этот позор тайно жег его, как незалеченная рана. Говорили, что отец умер в Терезиенштадте в затмении ума. Говорили, что перед тем он пытался переменить свою веру. По другой версии, его отправили не в Терезиенштадт, а в окрестности Минска. Несколько раз его видели там на кухне. Слухи на этом не прекратились. Почти каждый год до Бруно доходил какой-нибудь обрывок, вскрывая его тайную рану заново. У этого позора было много ликов: презрение, враждебность и намеренное забвение. Бруно не находил для отца ни единого смягчающего обстоятельства; однако в последние годы, может быть потому, что ему самому уже было недалеко до возраста отца, он чувствовал, что болезненный застарелый стыд распух в нем как-то по-иному, — не враждебность больше, а какое-то отстранение, не без удивления даже.

Теперь он стоит на том месте, где когда-то стоял с отцом. Теперь он уже в возрасте отца, а может, и на несколько лет постарше. И у него, как у отца — брак оказался несчастлив. И теперь он вернулся в первые свои места и, за отсутствием близкой души, стоит и глядит на это странное создание по имени Брум. Сам вряд ли помнит, как его зовут, но он, Бруно помнит, что его имя — Брум.

Брум встал на ноги, стукнул тростью о тротуар и свернул на скотопрогонную тропу, забранную с двух сторон невысоким каменным барьером. Тропа оборвалась, и на задах аптеки, в саду, зажглись несколько лучей, осветивших пятна желтизны на стене под двускатной крышей. Теперь казалось, что этот уголок ему особенно хорошо знаком. Здесь они с дядей Сало, весельчаком, мимоходом останавливались. Дядя — просмотреть газету, он —

полизать мороженое. Всегда лишь на момент, но именно это летучее мгновение, вся замечательность которого состояла в удовольствии от мороженого, запомнилось так ярко, может быть оттого, что это и была простейшая чувственная радость.

Он переходил от дерева к дереву, не спеша уйти далеко. Тут было много родных местечек, названий которых он теперь не помнил. Ноги у него огрузили и отяжелели. Напрасно он пытался вспомнить. Не вспоминалось, и он брел от дерева к дереву, от скамьи к скамье. Послеобеденные часы прошли, в уголках парка селились ранние сумерки.

Вечером он вернулся в заведение певички Гиль. Гиль не было. Сказали, что простудилась. Народу было много, но не слишком. Лилипуты, сидя на подставках, пели грустные экзотические песни. Они смахивали на взрослых людей, у которых лица съезжились от тоски. Молодой японец, по соседству с Бруно, был разговорчив и откровенничал; по-видимому, выпил лишнее. И он, как видно, рассчитывал поймать певичку Гиль и, дожидаясь ее, перебрал спиртного.

Уже два года как он учится в политехническом институте близ Кноспена. Получил стипендию. Но тоска по Японии сводит его с ума; поэтому трудно заниматься. Трудно отличиться. Не по вкусу ему и пища. Он много пьет. В Японии, пускай она и модерновая, есть еще уголки счастья и красоты. Человек не по своей воле рождается и умирает, но маленькая, призрачная свобода между сроками — вот что придает смысл этой жизни и жизни после нее. Теперь он заточен тут, на австрийской этой чужбине, где знают только пиво да шумную музыку.

Речь его была мешаниной немецкого с английским. В голосе была чужедальняя мелодичность, почему-то приятная усталому слуху Бруно. Лилипуты продолжали петь, но японец их не жаловал. Они, правда, из Азии, но песни у них фальшивые. Рабы фирмы. Бруно тоже пил. Спиртное притупило его чувства, но голова, как назло, оставалась ясной. Ясные апрельские дни заронили в его мозг свой свет. Трудно было избавиться от этого.

— Вы откуда, — спросил японец с внезапным недоверием, — вы местный?

— Из Иерусалима, — сказал Бруно.

— Что за чудеса творятся со мной сегодня! — воскликнул японец. — Сижу здесь и вижу свою маленькую деревню в Японии, и тут появляется человек, который нашел во мне дурака и рассказывает, что приехал из Святой земли.

— Из Иерусалима, — сказал Бруно и протянул японцу свой паспорт.

Тот нагнул голову.

— Кто-то хочет говорить со мною этой ночью, ясное дело. Сначала я был уверен, что здесь меня окружают сплошные бесы, а теперь вы говорите, что вы из Иерусалима. Из Святого города. Вы верующий?

— Верующий.

— Вы мне брат. Брат на этой чужбине. Здесь нога Бога не ступала. Нечисть, видно, любит пиво. На австрийское пиво падкая. Весь вечер сижу и думаю: что Богу от меня надобно? Что Ему угодно, чтобы я сделал в этот час, в этом чужом городе, в этом свихнутом баре, среди этих людей, которых я не знаю? Раз привел меня сюда, значит с какой-то целью! Иначе я тут бы не оказался. Вы ведь из Иерусалима и отлично понимаете, что я имею в виду. Что было сказано вам?

— Мне ничего не было сказано, — проговорил Бруно.

— Быть того не может, — сказал японец. — Я приехал из Японии, вы из Иерусалима. Безо всякой цели? Нам было суждено встретиться!

— Возможно, — сказал Бруно.

— Вы еще сомневаетесь?

— Нет, — сказал Бруно, — я пробую найти отгадку.

— Давно должны были уже встретиться. Потому что встречались однажды. Вы верите в переселение душ?

— Я пытаюсь понять.

— Это великая вера. Вера истинная.

Бруно встал с места:

— Я знаю одного человека. У него было имя Брум. Высокий, худой и нем как рыба — и вдруг оборотился в другого человека. Не отзывается теперь на свое имя. Я его зову — он не отзывается.

— Ясно, — сказал японец, — переселился в другого человека. Не может он отозваться. Он не помнит.

— Мне пора идти, — сказал Бруно, пытаюсь совладать с головокружением и сохранить равновесие.

— Но, друг мой, — сказал японец, — нельзя нам упустить этот случай! Кто знает, когда мы встретимся.

— Следующую встречу мы не упустим, я вам обещаю, — сказал Бруно.

Японец вперил в него тоскливые глаза:

— До чего редки бывают встречи! И как быстро оказываются. И снова крошечный мрак. Что я здесь делаю, в этой дерьмовой Австрии?!..

Бруно сбросил с себя это наваждение и вышел.

Была уже ночь. Из дворов веяло тонким запахом акации, смешанным с запахом древесных опилок. По реке плыло несколько рыбацких лодок, и одинокие голоса, долетавшие по воде, лишь подчеркивали тишину. В последнюю, а может, предпоследнюю весну, он вспомнил, что под этим деревом стояла Тереза и произнесла какую-то странную фразу насчет ужасных мук Христа. Отец, который терпеть не мог всякий культ, но особенно ритуалы христианства, отпустил какое-то обидное замечание. Тереза промолчала. Они прошли большой кусок, ни слова не говоря; но вдруг Тереза залилась горькими слезами. Мама, которая все время не вмешивалась в разговоры, подошла к своей сестре, спрятала ее голову у себя в руках и сказала с нежностью: "Чего ты хочешь, они же не понимают!" После они молча шли по бульвару. Мама с Терезой впереди, они с отцом сзади, на некотором расстоянии. Как будто только что они пережили жгучую боль.

Хлынули воспоминания, но тут он заметил человека позади часовни. На момент показалось, что человек ищет вход в часовню, но, услышав приближающиеся шаги, согнулся, будто его вдавливали внутрь. Он сделал неосторожное движение, и лицо у него открылось. Это был Брум, Брум иной, помельчавший. Слово меньше стал, с тех пор как Бруно увидел его впервые. Бруно остановился и с языка у него сорвались следующие слова: "Почему вы от меня бежите?" Голос остался деревянный. "Я Бруно А., сын пи-

сателя А., я вас помню! — закричал Бруно. — Вы приходили к нам домой. Разве вы не хотели бы повидаться со мною?”

Тень Брума вынырнула на мгновение из-под навеса часовни, распрямилась и бесшумно выбросила рукава двух теней, похожие на два козырька. ”Два дня уже как я здесь, — продолжал Бруно. — Не нашел ни одного знакомого. Был в кафе у Лонки. Постарела ужасно. Неужели не помните меня, Брум? Вы мне приносили орехи в шоколаде!”

Брум вздел свою трость и, связав в странно-театральный жест несколько фраз, в которых лексикон слуг мешался с лексиконом адвокатов, огласил этими фразами про странство.

— Чего вы хотите, я вас не понимаю, — спросил Бруно, как вопрошают привидение.

— Я вас ненавижу, — выставил Брум свое лицо.

— Я никому не расскажу. Это останется между нами! — прилип к нему Бруно с отчаяния. Брум, пораженный, как видно, тем, что Бруно имел в виду, замахнулся тростью:

— Не смейте подходить ко мне. Я ударю!

Неделя уже на знакомой этой чужбине, а он не принимает ничего. Большую часть дня просиживает на скамейке, следя за движением тени церковных башен; убеждаясь снова и снова, что ничего здесь не изменилось, кроме него самого: он уже в возрасте своего отца.

А когда устает следить за тенью, отправляется шагать вдоль по Габсбургскому бульвару, и тут тоже никаких перемен. Будто мумифицировались картины детства, вплоть до мельчайших подробностей освещения: поверх тентов и внизу на брусчатке. И влажный ветерок, которым тянет с реки в эту пору, и как он разносит аромат яблоневого цвета. Сохранили свою наружность даже еврейские лавки, к примеру мануфактурный магазин Лауферов. В живых никого из них не осталось, но зато их магазин стоит точно под тем же углом, как стоял, и уход за ним прекрасный, остались даже горшки герани. Теперь в нем сидят другой мужчина и другая женщина. Странно: они не выглядят, как убийцы.

Жену Лауфера он помнил смутно, а вот самого Лауфера вспомнил сейчас очень хорошо. В последнюю страшную ночь, в запертном храме полз тот на четвереньках к раввину. Оскал его узкого лица был, как у раненого зверя, и, пока полз, он без передышки клял раввина. Только из-за него свалилось это несчастье на людей. Если б не он, не его требования, не его постоянные домогательства по поводу денежных взносов и общественной работы, никто бы не знал, кто из них еврей. Это же доносчик. Раввин упрашивал его, как упрашивают грабителя, но Лауфер не давал пощады.

Теперь все стоит без них, под тем же удобным углом и в том же знакомом освещении, которое возвращается из года в год в неспешном провинциальном темпе. Там и сям несколько расфуфыренных калек, несущих свое увечье с холодной гордостью, но и они просвечены безмятежностью маленького городка, живущего по звуковым сигналам времен года. Когда же он выходит за пределы центра, распаиваются зеленые горизонты, и ненадолго он забывает, что он здесь, в своем городе, среди чужих людей, заполнивших все углы. В детстве они выходили сюда на уроки естествознания. Разглядывали птиц, знакомились с полевыми цветами. Учительница-монахиня, с лицом, спрятанным в белый плат, указывала длинным пальцем: вот вам, дети, анютины глазки. И, казалось, он тут, этот белый перст, прямой и непреклонный, и так же остро скошен, как вытянулся на глазах у Бруно в первый раз.

Спустя годы, уже в первом классе гимназии, запряженный в ярмо латыни и алгебраических задач, он приходил сюда с мамой. Они стояли здесь подолгу. Лицо у матери становилось отрешенным, и она погружалась в глубокое, сосредоточенное молчание. Ему это казалось чем-то вроде религиозной покорности; и его пробирал внезапный страх, в котором он никогда никому не признавался. То был, разумеется, лишь солнечный свет, переливавшийся над крышами города лазурными красками. Но он почему-то всегда пугался этой избыточной синевы и покорного лица матери.

И потом, когда они возвращались, за ними до самого дома волочилась длинная тень. Массивная дверь отсекала ее и оставляла на улице. Так это было весной. Вернее, в начале весны. Мировой порядок вещей внезапно располагался четкой палитрой красок. Будние маленькие радости — и будние незаметные разлуки. Уже тогда в доме незримо поселилась смерть. Это была учтивая смерть. Ее знаки можно было ощутить лишь в печальных, слезящихся закатах. И порою, по ночам, когда он лежал на своей постели, вставала обезглавленная тень, вползала в окно и вторгалась в его сон мягкой болью.

Так он стоял, околдованный, среди знакомой чуждости,

когда увидел женщину, идущую ему навстречу. Она выглядела старой и неимоверно толстой — ноги грузно шаркали по тротуару; Бруно тотчас, однако, заметил, что на голове у нее берет. Старая женщина никак не станет носить берет, если только не училась в педагогическом училище или не служила в монастыре; лишь те, кто был связан с монастырем или училищем, до старости сохраняют обыкновение носить берет. И, когда она подошла к нему почти вплотную, его бросило в жар. "Луиза!" — вырвалось из его груди. Ошарашенная старуха отшатнулась, глядя на него неприступным взглядом, но он стиснул ее руку, как добычу: "Луиза, разве вы меня не узнаете!"

Он изумился собственному голосу.

— Нет.

Он беспомощно опустил голову.

Она отвела лицо назад, как загнанный в угол человек, который ищет помощи, но тотчас придвинула лицо к нему и, всматриваясь, промолвила:

— Вы сказали "Бруно", верно?

— Верно.

— Вы, значит, Бруно.

— Луиза, вы помните! — сложил он свои руки и потряс ими.

Луиза... Сладостное прикосновение женских вещей, и мелкие шажки крестьянской девушки, которая впервые ступила на паркет. Он помнит еще, как пришла к ним, стояла оробевшая в дверях, и тот запах деревьев, который она принесла с собою из своей деревни. Низкая ростом, худая, закутанная в цветастую деревенскую шаль. Словно увязались за нею зеленые луга ее деревни. В самом ее имени уже была та пленительность, которая исходит от стройных застенчивых девушек. В первые вечера после ее прихода, когда родители уходили в концерт, Луиза подсаживалась к нему и рассказывала про деревню. Звук ее голоса был раскатистый, как звук простора. Ее деревня на склоне горы, под горой — река. Река настоящая, течением людей топит, как весна — так жертвы, одна уж обязательно. Потому что весной половодье. Он все еще помнит выражение ее лица, когда она рассказывала про это. И сама, точно

тот горный склон, от которого отделилась. Так вступили далекие деревни в его сны вместе с безмятежным деревенским покоем. Доверчивые, открытые, как лицо Луизы. Рассказы, бывало, затягивались допоздна. Впервые он услышал про конюхов, про ссоры из-за арендованных земель, про подковку лошадей, про пахоту и сев и про наводнения, смывавшие поля и террасы. Рассказывала она монотонно, протяжным голосом, как, наверное, рассказывают в деревнях, без лишних эмоций. Негромкая речь текла, словно сама по себе.

Со временем его вечера с Луизой стали более продолжительными. Не только мелкие ссоры — и козни, коварство и месть водились в ее деревне. Тут он впервые заметил, что проста-то она проста, да не совсем; может, потому, что сам изменился.

Но прелесть вечеров от этого не пострадала. Очень долго это длилось — как сказка с продолжениями. Когда ему было десять лет, родители уехали отдыхать, и впервые он остался наедине с Луизой. Спали они в гостиной: она на тахте, он на раскладном кресле. Теперь расспрашивала она. Слыхала кое-что о евреях, но мало. У них в деревне рассказывали про евреев страх какие вещи. Вследствие одной девицы, которая еврею поддалась, ну вот те крест. Сперва в Вену сбежала, и оттуда в Америку. На несколько лет как в воду канула. Потом открытка от нее пришла с сообщением, что она от веры отказалась. Больше не католичка. Отец, богатый хозяин, принял удар не дрогнув, как утес гранитный. С тех пор, сказала Луиза, вышла евреям слава, что они дерзкие искусители, которых остерегаться надо. Она рассказывала и хохотала. И ее смех, журчавший среди подушек, звучал теперь иначе, может быть, из-за мыслей, усвоенных у себя в доме.

И от концерта к концерту, одно в одно, пошли короткие каникулы. Он оставался с Луизой, зарывшись в ее подушки или на полу, играя с нею в лото. Тогда он ясно заметил, что в ней изменилось что-то. Она похорошела и волосы стали длинные, но открытый взгляд, в котором отражались воды реки, словно потускнел. Она допытывалась, какая вера у евреев. Тоже ли они веруют в Иисуса

Христа и святую деву Марию? Вопросы приводили его в замешательство. От большого смущения он хохотал и говорил, что евреи верят и в дьявола. Она останавливала на нем свой взгляд, полный деревенского изумления, и умолкала. Но тайна продолжала существовать. Присутствие Луизы, ее бедра, ее ноги, ускользающие по паркету. И особенно — смех, при котором губы ее изгибались тонко и чувственно. Просыпаясь, он иногда обнаруживал себя в ее объятиях. Тогда она еще спала в ночной рубашке, которую привезла с собой из деревни. Запах льняного полотна и ее тела, надушенного дешевым одеколоном, снимал и ту малую тяжесть, которая еще присутствовала во сне, и сон превращался в какой-то дремотный полет. Он никому не поверял эту тайну. Ее нежный узор рвался и пропадал, едва возвращались родители: Луиза ретировалась на кухню, он — к своим тетрадкам. И так до следующего концерта.

Иногда они ходили гулять. Луиза спрашивала:

— Верно, ты баловень?

— С чего ты взяла?

— На селе мальчишки в твоём возрасте уже работают.

— Что они делают?

— Родителям помогают в поле.

— Возьмешь меня с собой в деревню?

— Эка невидаль: деревня! — смеялась она.

Весною третьего года ее службы родители Бруно были в очередной короткой отлучке. Не успели они уехать, как выступила из своего укрытия та самая восхитительная тишина. Он стоял и слушал шорохи пустого дома, но тут в дверях возник некий дылда с внешностью официанта на летнем курорте: уставился на Луизу и лицо у нее зарделось. Он являлся каждый вечер и торчал допоздна. Иногда садился с ними за лото, насвистывал вальсы и приговаривал:

— Мальчик смекает. Еврейские мозги, в жизни не проведешь.

Вот так первый раз он отведал горечь коварства. С коварством он еще не был знаком, только его руки имели опыт. Однажды ночью он увидел на Луизе розовую ночную

рубашку с двумя розами, вышитыми на груди. Подарок парня, доверилась ему Луиза. Чувство, которое он испытывал, влилось в другую нехорошую боль. Настали трудные дни 1937 года, родители отлучались реже и, если уж выходили, брали его с собой. Ссоры были жестокие. Без ссоры дня не проходило. По вечерам же, когда он сидел над тетрадками, упражняясь и переписывая, Луиза преодевалась в новые свои наряды и шла гулять. Сквозь сон он ловил ее возвращение. Как она запирает наружную дверь на ключ и на засов. По-видимому, она влипла. Мама посылала ее за город к дальнему врачу. Лицо у нее непоправимо утрачивало деревенские черты. Возвращаясь, она божилась, что никогда больше не поддастся потаскунам, падким до женского тела. Но клятвы ее оказывались напрасными. Опять новая беда, и опять это лицо, что после такой беды: стыд и простодушие с хитростью заодно. После каждого похода к врачу лицо у нее становилось изящней и на лбу прорезывались скорбные морщинки. За этими бедами, сменявшими одна другую, она растеряла свои деревенские ужимки и стала очень похожей на нас. Даже выговором. Мама отдавала ей свои платья. Иногда ее можно было принять за студенточку, слегка утомленную учебой. Приходившие в дом молодые дядья Бруно говорили ей комплименты по поводу того, как она ужасно похорошела. Подоплеку этих замечаний он не понимал, но от них у него почему-то портилось настроение.

И в последний год, мрачный и сумбурный, когда в доме стало скверно до отчаяния, заметалась и она между занятиями в училище конторских служащих и своими ухажерами. Металась она недолго. В один прекрасный день украла зимние вещи и драгоценности и сбежала. Жуть тех дней заслонила все воспоминания о ней, а с годами и самое ее имя улетучилось из памяти.

Они вошли в ближнее кафе. Приземиста и толста. Узнать бы не узнал, если б не берет, последний след былой прелести. Но сама — бочка бочкою, едва ноги носят. Верхняя губа толще нижней, и выговаривает имя Бруно на крестьянский лад. Да еще прибавляет при этом: "Спа-

собо Тебе, Господи!” — как прихожанка, у которой заведено не пропускать воскресную службу.

— Смотрю и глазам не верю, — сказала она.

— Неделя уже... — уронил Бруно, не закончив фразу.

Кафе было маленькое, в такое забегают перекусить не задерживаясь, уюта никакого, на полке транзистор с громкой музыкой. За стойкой пили пиво несколько рабочих. Два старика резались в домино. Большой кипятильник на столе навевал тоску. Теперь он увидел вблизи: волосы у нее поредели, на висках густая сеть морщин. На носу лоснился плоский рубец с двумя торчащими волосками. “Два раза была замужем, и все неудачно. Один сын в Вене, другой во Франкфурте”, — подытожила она коротко. Он пытался отыскать в ней какую-нибудь знакомую черту. В глазах не осталось от прежнего ровно ничего. Маленькие глаза, заплывшие жиром. “Работает в баре и зарабатывает на жизнь вполне прилично”, — сказала она про своего сына в Вене. Теперь он окончательно убедился: от Луизы ничего не осталось, перед ним старая австрийка, и только. Два мужа нажрались ее тела, и теперь ей осталось таскать свою больную плоть.

Он уже произнес: “Мне было очень приятно”, словно собираясь встать и распрощаться, как вдруг она сжала губы, провела рукой по седым волосам и переменялась в лице, утратившем свое крестьянское обличье; и в жесте ее рук выразилась какая-то озабоченность, ужасно ему знакомая. Как дома при каждом переполохе.

— После высылки, — сказала она, — пришел дядя Сало, пьяный, и попросил, чтобы я его у себя спрятала, но я была страшно напугана и боялась впустить его в дом. Бог мне простит. Я должна была впустить его к себе, но я страшно боялась.

Странно, подумал Бруно, это грызет ее. Она продолжала:

— Сало я любила больше всех мужчин. — Она улыбнулась, как улыбаются, вспоминая старый грех. — Он привозил мне из Вены прозрачные чулки и одеколон самой лучшей марки. Я очень хорошо помню ваш дом. У вас хорошо обращались с женщинами. Руку на женщину поднять — такого быть не

могло, тем более вилами ударить. Вот смотри, — сказала она, задрав подол платья, — я отведала вил.

— Как так? За что?

— За деликатность, которой, как говаривал мой первый муж, я набралась у евреев. Еврей женщину вилами не огреет. Еврей любит женщину.

— Евреи созданы для любви, — усмехнулся Бруно.

— Да, мой милый, приятные мужчины. Дают женщине чего ей надобно. Как-никак — женщина тоже Божье создание. Бог ее с желаниями и страстями сотворил. Я и маму твою любила. Не сбилась бы с пути, если б ее слушалась, да в молодости в моей что-то очень уж дурное было. Бес его знает.

— Вы знаете всю нашу семью.

— Красавцы и кавалеры твои дядья. Вспоминаю сегодня грехи свои.

Ненадолго отошла от нее ее физическая безобразность, в то время как она сидела, ушедшая в себя. Мысль о том, что и его дядья, навещавшие квартиру летом, тоже жаловали Луизу — эта тайная мысль была приятна ему теперь, как привет издалека.

— Я рад, — промолвил он.

— Я тоже, — сказала она. — Вспомнилось много доброго.

Кто остался в живых — об этом она не спрашивала. Слабый свет, осветивший лицо, угасал, и глаза снова заплыли бледным жиром. Руки на столе дрожали от старческой слабости.

— Столько вопросов, не знаю, с чего начать, — сказал он, словно извиняясь.

На ум не приходил ему ни один вопрос. Со странным и слегка пустопорожним многословием принялся он рассказывать, какая долгая была поездка, и про поезд, и про пьяных. Он сыпал местным немецким диалектом в каком-то припадке болтливости, точно по возвращении с отдыха, в котором не было ничего милого и приятного. И, когда она поднялась со словами "мне пора", он тоже поднялся и сказал, что хотел расспросить о многом и не спросил от обилия вопросов. И он все еще толковал ей

про поезд, привезший его сюда, в то время как она уже сунула ему руку:

– Хожу под хозяевами, как всегда. Работаю в санитарной службе.

Бруно отвесил ей поклон, и его правая рука сделала какой-то странный жест. Словно выражая удовольствие от большой удачи.

И когда Луиза удалилась в тени бульвара, он долго еще не двигался с места, одолеваемый странной веселостью и не зная, что с нею делать. По всей южной стороне освещение уже переменялось, и холодные тени легли на ограды домов и на стену вокруг церкви. "Луиза, – повторял он про себя, – ты всех их знавала собственным телом!" Словно теперь лишь дошло до него, что он тут, в его родном городе, где все тени ему знакомы и где всякое малое колебание звучит в унисон с течением реки.

Странная веселость потускнела и растаяла, и в груди защемило от какой-то нагой, звериной тоски. Он не мог отделаться от ощущения пустоты, и когда, засев в трактире, принялся глушить себя коньяком. Коньяк сводил ему глотку горечью. Рядом сидели пьяные, охали и хохотали, и весело сквернословили. Один спросил:

– Помногу пьешь?

– Раз шесть за день, – бесстрастно ответил Бруно.

– С половину твоей получки будет?

– Ну и что из того?

– И не пошел лечиться в диспансер?

– Я в эти учреждения не ходок, – изобразил из себя Бруно старого пропойцу.

– А жена, она инспекторов социальной службы на тебя не напустила? – поинтересовался пьяный.

– Не, – отрубил Бруно на местный лад.

– Я, – сказал пьяный, – вчерась поколотил жену за инспекторов. Натравила на меня. Попытались уволочь в свою берлогу.

– Я тебя очень понимаю, – сказал Бруно, довольный тем, как вспомнил язык и как свободно выражается, – я бы им не поддался.

– Плевать на инспекторов, но ей прощения от меня не будет. Одну за мой счет, по случаю знакомства!

– Я уже проглотил свою норму, – сказал Бруно.

– Брезгуешь?

– Боже упаси. Нахлебался под самую завязку.

– Прощаю при одном только условии, что первую завтрашнюю – за мой счет, – сказал пьяный.

– Вот тебе мое слово, – сказал Бруно.

День кончался, и легкие тени вползали внутрь, расплываясь на полу. Трепотня с пьяным слегка развеяла его тоску. Он шагал по бульвару, вдыхая сумерки. От коньяка шумело в голове и ощущалась приятная сытость. На углу стояли две проститутки в невысимо коротких юбках. В этом откровенном одеянии они имели какой-то пристыженный вид.

Смеркалось, и можно было увидеть в просветах между деревьями, как ставят решетки на двери магазинов. Кто-то спросил, который час, и женщина ответила: "Семь". Вечер с его первыми электрическими огнями, стуком каблучков и двумя стыдливими проститутками был приятен ему теперь, точно после несчастья, позабывшегося на время. Он прикинул и вычислил, что путь к гостинице займет еще около получаса. В гостинице можно будет выпить кофе и посмотреть газету.

Он стал вспоминать Луизу, ее лицо, раскрывшееся на мгновение при звуке забытых имен и снова одубевшее, болезненно-одутловатое. Теперь он видел лишь верхнюю ее губу, вздрагивающую, как у испуганного животного. Пирожное в кафе она переломила обеими руками. Как если б не пирожное это было, а окостеневший предмет, который невозможно вскрыть. Вернувшись в гостиницу, он не попил кофе и не посмотрел газету. Усталость его сморила. Во сне он слышал только горничных, секретничавших в уборной, где они щеголяли друг перед дружкой скверными словами.

Две недели уже. Выходит из гостиницы утром, вечером приходит; роняет голову на подушку, и бормотание горничных уносит его в жадное забытье. Очнувшись, не помнит из того, что снилось, ровно ничего. И снова стоит на площади, шагает по Габсбургскому бульвару, сидит на скамейке в парке. Никто не обращает внимания, как он там сидит. И, когда внезапно на город падает дождь, он встает со скамейки, уходит к стене и стоит там.

Воздух в это время года чистый и изнуряющий, но он пересиливает свою усталость, не упускает мельчайшего шевеления меж деревьями. В полдень заходит к Лонке, в "Цветочный букет". Лонка до того стара и больна, что даже заказа не может удержать в памяти. И, когда просят кофе с цикорием, она, чтобы по дороге не забыть, вслух бубнит: "Кофе с цикорием..." В полдень никого здесь не бывает. Он отсиживает часа два, отпивая из чашки и следя за тонкими тенями, со времени его детства не переменившими своего места у окна. Когда тени тают, он приковывается глазами ко входу в ожидании знакомых шагов. Массивная дверь отказывается подать ему хоть малейший звук. Коричневая дверь темнеет, по мере того, как меркнет свет.

Однако вчера он поймал какое-то легкое и неожиданное движение. Тень каштана размашисто расстелилась перед скамейкой и, складываясь, отбежала к стволу. Это повторилось несколько раз, и тогда он увидел, что подле каштана кто-то стоит. Человек стоял спиной к нему, и первая догадка была — сумасшедший Брум. Нет, не Брум.

Кто-то очень знакомый, но не настолько, чтобы можно было заговорить с ним. Человек стоял не шевелясь. Тени вокруг перемещало его просторное пальто. Долго простояв так, человек ушел.

В Бруно пробудилось какое-то беспокойство от этого маленького события, но пока что это беспокойство было внешним. Тотчас появились две женщины, старомодно одетые. Разговор шел у них про какое-то общество, которому угрожает роспуск, но Бруно померещилось, что они хотят отвлечь его внимание. Он поднялся, а они продолжали толковать о том же, и, удаляясь, он отчетливо услышал: они говорили про ботанический сад, взятый в свое время на попечение родительским комитетом гимназии. Его мать два года состояла в этом комитете. Теперь, когда дела расстроились, комитет хочет уйти от ответственности. Бруно весело хмыкнул, точно на него дунуло успокоением.

Он пошел бродить по переулкам. Вечерело. Из низких домов, одетых в зелень, текли домашние шумки вместе с теплым паром свежего кофе. Теперь он впервые почувствовал, что ему тут знакомо все до последнего, вплоть до робких шорохов ночи. Смотришь без удивления, как на знакомую реку в безветренную погоду. Захотелось постучаться в одну из дверей, сказать: вот и я — неужели меня не помните?..

Странно. В детстве ему снился сон, что он возвращается в свой город и никто не узнает его. Он бродит с места на место в ужасе от этого спокойного отстранения от него, отказывающегося признать его существование. Он тогда много думал об этих снах, мучительных, как кошмар.

Были здесь несколько потомков крещеных евреев. Заглянуть к ним в ранний вечерний час показалось ему почему-то еще более безнадежным делом. И вот так, незаметно для самого себя, он снова очутился в баре, где работала Гиль. Ее не было. Из динамиков плескало навязчивой дешевой мелодией. Какая-то опустошенность стояла в сумраке, вместе с кислой табачной вонью.

Первая рюмка поправила его сразу. Он собрался за-

казать вторую. Только повернул голову — и увидел Гиль с молодой компанией. Ничего примечательного, если б не две девицы. Такие ошиваются во всех барах. Они двинулись в правый угол, где стояла длинная скамья.

— Присаживайтесь, братики, присаживайтесь, — пригласила Гиль тем тоном, который в ходу у горничных. И заметила его, в то время как они повалились на скамейку, нарочито небрежно и лениво.

— Вы здесь! — подошла она к нему. — Я привела молодых, приятное племя. Не хотите ли познакомиться?

— Кто такие?

— Из наших, — с любезностью бар-дамы сообщила Гиль. — Метисы самого наисимпатичнейшего сорта. — Гиль была в хорошем настроении и объявила: — Будьте знакомы — Бруно из Иерусалима.

Ее восклицание не произвело никакого впечатления. Они пришли справлять день рождения Эрвина и были заняты своим весельем. Отозвалась только худенькая не-ряшливая девица с потным лбом:

— Любопытно, из Иерусалима!

И подседа к нему, не спрашиваясь. В ее узком личике не было ни одной привлекательной черты. Железные очки на носу только подчеркивали, до чего маленькие у нее глаза.

— Иерусалим, — не обращаясь к нему, сказала она. — Ну, и что там?

— Город как все города, — сыграл в тон ей Бруно.

— А где же сияние, где святость? — спросила она небрежно.

— Живут и здравствуют.

— Что же привело вас сюда, позвольте спросить?

— Это мой родной город, и я приехал посмотреть его.

— Выходит, все мы слеплены из одного теста.

— А вы?

— Я заурядный плод смешанного брака. Метиска без всяких претензий. — Круглые очки поблескивали у нее на носу с легкой насмешкой. Ясно было — хранить свою тайну она умеет. Не желает всерьез говорить об этом.

Тем временем бар постепенно освещался весельем.

У стойки настраивали свои инструменты лилипуты. Они смахивали на детей, попавших в услужение к взрослым.

— И много нашли знакомых? — спросила она словно не нарочно.

— Нет, — сказал Бруно. — За годы, что меня тут не было, все изменилось.

— Можно спросить, как вас зовут?

— Бруно А. Это вам что-нибудь напоминает?

— Нет, ничего.

Ее приятели уже сгрудились над бутылкой коньяка и кричали разные слова, с расстояния звучащие одинаково. Девушка на них уставилась. Заметно было, что ей доставляет удовольствие разглядывать их со стороны.

— Сузи, поди сюда посмотри нового человека! — позвала она пухленькую девушку.

Пышка развернулась и произнесла намеренно театрально:

— Кто меня зовет? Кому я нужна?

— Мне, — сказала девушка. — Здесь сидит новый человек. Из Иерусалима. Это тебя не колышет?

Пышка вперила глаза в Бруно:

— Здравствуйте, я Сузи. Лучше всего меня вам отрекомендуют мои телеса. Ты говоришь, он из Иерусалима? Интересно. Ужасно интересно. Хотя, в сущности, почему?

— Что ты несешь?..

— Простите, — сказала шутливая Сузи, — забыла, что есть города, которые не чета другим.

— Он, кроме того, отсюда и нашей с тобой породы, и, если не ошибаюсь, чистый, без всяких примесей.

— В таком случае, я отдаю ему честь, — сказала Сузи и отдала честь. — Помилуйте нас за нашу убогость. Мы только полукровки. Мы — совершенство всех изъянов.

Девушка прыснула, и Сузи поинтересовалась, о чем смех.

— Спрашиваешь... Ну и язычок же у тебя...

К тому времени Эрвин был уже заключен в объятия обеих девиц, покрывавших его физиономию поцелуями. Подбадриваемые компанией, они чмокали его снова и снова.

На душе у Бруно сделалось совсем кисло. Его приезд сюда теперь казался еще более глупой затеей. И эта компа-

ния с ее дурацкими забавами... Коньяк кружил голову, правая рука независимо порхала в такт музыке.

— За какой надобностью вы здесь? — спросила Сузи распутным голосом.

— Ни в чем не нуждаюсь.

— Надо позаботиться о нем, — сказала Сузи своей подруге. — Не то славу еще распустит про наш город. Будет рассказывать, что нет здесь никаких развлечений.

Веселье достигло апогея. Видно, подействовало спиртное. Один из рослых парней декламировал рекламные вирши, остальные вторили ему, по-лошадиному топоча ногами. Ансамбль лилипутов играл теперь мелодические песенки. Лицо у Сузи передернулось гримасой, словно в рот попала испорченная пища.

— Может, прекратите? — взмолилась она. — Тошнит от этого сахара!

Бруно приготовился встать и идти. От музыки колотило в висках. Снова захотелось уединения. Как хорошо здесь было вчера — никого, ни души. Умеренный хмель тек по жилам, его действие ощущалось во всем теле. Правда, по дороге в гостиницу к нему привязалась старая шлюха и порвала тонкие волокна мыслей. Разозлившись, он покрыл ее скверным словом. Брань не помогла, и потом всю дорогу его выворачивало.

За этим несвязным воспоминанием он заметил, что выражение на лице Сузи переменялось. Она ухватила лицо руками и натянула кожу. Как видно, музыка не давала ей покоя, и таким способом она снова выразила свое неудовольствие. В этом жесте было нечто знакомое до ужаса.

— Одну минуточку, — проговорил Бруно, словно отодвигая в сторону груды барахла, накиданного перед ним, — не старые ли мы с вами знакомые? — И сам изумился своей смелости.

Сузи повернула голову. Проступившее в ней исчезло. Невзрачность и неряшливость бросались в глаза.

— Может быть, — сказала она. — Я работала горничной в отеле "Континенталь". И еще официанткой в ночном клубе. Немного поработала на кухне, но затем меня повысили

в чине. До кухарок я больше не опускалась. Занятия разные и пестрые, как видите.

— Но как вас зовут? — обратился он непосредственно к ее глазам.

— Сузи. Я ведь вам уже говорила. Скучное гладкое имя. Противное.

— Я спрашиваю фамилию.

— Вы, я вижу, желаете расследовать меня. Извольте, я к допросам привыкла. Итак, скажу вам мою фамилию. Для вашего сведения, их у меня две. Скажу вам секретную. Мое секретное имя Сузанна Кауфман. Мои предки и предки предков — купеческого сословия, торговцы миррой и бальзамом. Красивые негоцианты, изящные купцы, привозившие товар, как пишут в книгах, из дали дальней. Купцы, у которых были красивые жены. Утонченные торговцы. Что вы улыбаетесь? Почему вас это смешит? — Сузи никак не могла заткнуться, вязала эпитеты и расточала хвалу, пока не произнесла: — Всем бабам снятся такие торговцы.

Бруно опустил голову. Слова, точно косою, секли над головой. Догадка, что перед ним сидит незаконнорожденная дочь дяди Сало, еще только складывалась, но уже вызвала то бешеное волнение, которое опережает отчетливую мысль.

— Что скажете об этом имени? О его истории? Или вы тоже питаете отвращение к этим именам? — наступала на него Сузи.

— Я знал человека по имени Кауфман, — поднял голову Бруно.

— Значит, вы знали моего отца. Он был еврей. Еврей, как и вы. Еврей, у которого было две жены. Потому что он был падок на женщин. И я — от его любовницы.

Дядя Сало!.. Память о нем, вместе с памятью об отце долгие годы пребывала в том холодном безмолвии, что прячется в сырых подвалах. Дядя, легкомысленный весельчак, неисправимый волокита — что ни год, то скандал.

Сузи снова провела руками по лицу так, что он увидел длину ее пальцев.

— Мать долго скрывала от меня, — сказала она подружке.

— Это было для тебя сюрпризом?

— Отчасти. Я всегда была странной. Теперь-то я понимаю, теперь я умная.

— Интересно. Что же тебе говорили?

— Сначала сказали, что мой отец погиб на войне.

— Мне сказали, — отозвалась девица, — что утонул в реке.

— Злилась?

— Злиться? С чего это?

— А я вся кипела, год с мамой не разговаривала.

Ансамбль лилипутов ушел в угол и тихо наигрывал оттуда. Бруно переживал чувство какой-то скорбной близости к девушкам. Сузи снова и снова натягивала кожу на лице.

— Откуда вы знаете Кауфмана? Извините за вопрос, но я его дочь, в конце концов. Незаконная, правда, но что из того. Имею, кажется, некоторое отношение к нему.

— Он мой дядя, — почти шепотом сказал Бруно.

Сузи сделала большие глаза, подняла правую руку и положила ее на столик. На лице у нее выписалось какое-то холодное изумление. "Быть не может", — уронила она. Но тотчас, словно испугавшись себя самой, повернулась к участникам пирушки и объявила:

— У меня есть сенсационные новости.

Хмельной развеселый Эрвин усек это сообщение.

— Что? Что за новость? — спросил он.

— Я нашла потерянного кузена.

— Откуда он потерялся?

— Из еврейской провинции во мне.

Все вскочили и, нетвердо шагая, окружили столик. Эрвин сказал:

— Что ж ты его не поцелуешь!..

Не колеблясь, Сузи подступила к Бруно, притянула к себе и поцеловала.

— Кузен мой родной, кровинка моя духовная, если так можно выразиться, — проговорила она.

— С ума сошла, — сказала девица.

— А теперь ты присягни, — не уgomонился Эрвин, — присягни на верность духовной части, которая в тебе содержится. Твоей засекреченной части.

— Что ты к ней пристал!

Сузи задрала платье и показала свои жирные ляжки:

— У них нет доли в моей еврейской тайне и никаких на нее прав.

Притащили бутылки, сели разливать и выпивать. Никто не задавал никаких вопросов. Опрокинув две рюмки подряд, Сузи понеслась говорить, рассказывать и повторять, точно на детском спектакле, про своих предков, стройных смуглых изящных купцов, которые привозили с Востока драгоценные женские благовония.

— Мое секретное имя — Гофман, — сказал Эрвин. — Мои предки, стало быть, княжеского рода.

Зазвучали слова странные, неслыханные, пьяноватые, борющиеся с тоской. Они были понятны Бруно, как понятны намеки в кошмарном сне. Сумбур был в полном разгаре, когда некто с лицом, изрезанным очень острыми линиями, встал и заявил, что ему отвратительна вся эта церемония: он, во всяком случае, не станет возводить в таинство случай элементарной биологии. У него был тонкий, крючковатый нос — свидетельство немалых полемических способностей.

Удивившаяся Сузи подошла к нему:

— Чем ты недоволен?

— Низкопоклонством этим, — сказал он тихо.

— Провозглашаю перед всем миром, — сказала Сузи, — что мой безвестный отец дороже мне всех австрийцев. И клану ему земной поклон. Вот так. — И она повалилась на колени.

— Нет, уж увольте! — сказал тонкий. — Меня увольте.

— Преклоняю себя, всю, всю, — сказала Сузи. — Вот так. И говорю, что мой безвестный отец, мой отец, знавший многих женщин — вот кто возлюбленный мой навеки!

— Увольте! — снова воспротивился тонкий.

— Чего тебе надобно от нее?! — вмешалась девица.

— Отказываюсь бить поклоны.

— А я, — закричала Сузи в истерике, — объявляю, что еврейская кровь, которая течет в моих жилах, — вот кипучая кровь. Вот эта вот кровь -- замечательная. Ее-то я люблю!..

Хозяин бара, поначалу не вмешивавшийся, подал голос:

— Здесь не клуб, прошу успокоиться.

Предупреждение, посланное из-за стойки, только раз-

дуло огонь в словах: пьяные слова заметались теперь, как взбесившиеся. Напрасно девица умоляла не портить Эрвину его праздник. Сам Эрвин, после того, как обе девицы, виснувшие на нем, отлипли, имел какой-то топорный вид. Сузи, скорчившаяся на коленях, не переставала отвешивать поклоны и восклицать: "Поклоняюсь моему безвестному отцу!"

И, поскольку повторное предупреждение владельца бара тоже не возымело действия, вышли два дюжих официанта и без разговоров препроводили их к выходу. Компания удалась не споря. Бруно остался один. Было семь часов вечера, и в баре установилась пустынная тишина. Слова, изредка долетавшие снаружи, лишь усугубляли пустоту. Навеванная коньяком легкая печаль рассеивалась, уступая место заворочавшейся в нем тоске, грубой и тяжелой.

Подошла Гиль и сказала:

— Приятный сюрпризец, верно?..

— Из ряда вон, — сказал Бруно.

— Они такие, метисы, не исправишь, — проговорила Гиль мягким женским извиняющимся тоном. — Но они милые.

— Вы их знаете хорошо?

— Еще бы. Вместе росли. Вместе сделали это открытие про самих себя. И так с тех пор посейчас.

— А Сузи?

— Вместе выросли. Как на селе говорят, одну матку сосали.

Хозяин бара жестом указал ей на микрофон, и она вприпрыжку побежала к стойке.

Тоска терзала, но тут он ощутил приближение какой-то тонкой мелодии. Он запахнулся в свое пальто и вышел, не попрощавшись с Гиль. Первые ночные огни мирно текли из окон. Полная неподвижность, кроме этого струящегося свечения. Он ходил по улицам, пока не очутился перед освещенной лавкой выкреста Фирста. Кряжистый дед Фирста успел поменять веру в спокойные и безмятежные времена Франца-Иосифа. Новой вере не изменял, но и с евреями отношений не порвал. Водились с евреями и его сыновья. Про Фирстов всегда говорили, что в них осталось нечто ев-

рейское. Теперь в большой табачной лавке сидит внук и попыхивает трубкой, похожий на старого австрияка, насквозь пропитавшегося пивом и табаком. В лавке – никого.

– Зайду-ка, – промолвил Бруно и вошел.

Над дверью зазвякал, как в старых лавках, колокольчик. В нос шибануло спертым винным и табачным духом.

– Чего изволите? – спросил старик.

– Аденского табаку, – попросил Бруно, как бывало спрашивал его отец.

– Век уже нету аденского. Откуда будете?

– Здесь мой родной город. Я расстался с ним тридцать лет тому назад.

– Дайте-ка попробую вас вспомнить...

Бруно назвал себя и фамилию своего отца.

– Не взыщите, позвольте разглядеть, глаза у меня плохи стали...

– Евреи, – уронил Бруно в тишину.

– Понятно, – сказал старик, и его старые глаза похолодели, точно увидели на прилавке живое чудище.

– Что вы говорите! Что вы говорите!.. – пролепетал он. Руки у него дрожали.

– Я шел мимо лавки и услышал запах табака.

– Брат мой! Брат! – воскликнул старик. – Мне самому не хватило мужества... – лепетал он, точно упадет сейчас на колени. Но не упал, застыл прямо, точно проглотил аршин.

– У меня не было намерения затруднять вас, – сказал Бруно. – Я только теперь встретил свою кузину. Незаконно-рожденную дочь моего дяди Сало. Дядя Сало, вы, конечно, помните его?

У старика открылся рот, как будто он словил ртом это известие. Бруно продолжал:

– Какая восхитительная девушка. Внешностью не похожа на него, но пальцы – точь-в-точь.

Старика трясло. Наверное, не ждал и не гадал.

– У меня у самого мужества не хватило. Не прошу пощады, но мужества у меня не хватило.

Старик странно дернулся, как если бы хотел согнуться,

но вместо этого схватил коробку с табаком и поставил ее на полку.

— Я здесь уже две недели, — сказал Бруно, не сводя глаз с дрожащих рук старика. — Уже две недели. Какая радость была — встретить кузину. Непохожа на своего отца и все-таки как вылитая.

Лицо старика оттаяло, он даже улыбнулся невнятной улыбкой, но лишь на мгновение: тотчас сжал свои дрожащие пальцы и хватил себя кулаком по лбу. Вот оно, это насекомое. По имени Август. Вот оно, насекомое. По имени Август. Бруно хотел было подойти, попросить прощения. Но старик угадал и сказал: "Нет, нет". И Бруно повернулся и вышел.

Честные люди были Фирсты. Странная честность. Нездоровая. И так в дни беды они встали в ряд вместе со всеми депортируемыми. Стороннее их присутствие в запертом храме вдохнуло в сердца увядших людей какое-то последнее восхищение. Их было четверо, и всю дорогу до Минска они не снимали шляпы со своих голов. Такая сила отличала не всех Фирстов. Август остался в своей лавке. И сидит в ней, как сидел. И всю ночь перед ним промаячили четыре выкреста, стоявшие в храме навтыяжку, как разруганные солдаты. И потом — на морозе, за шаг от конца — тоже не произнесли ни единого звука.

За этим последовали такие же дни, без дождя. Деревья отцвели и укрыли землю тонким снегом лепестков, но что до самого Бруно, то он лишился покоя. Налетавший с реки влажный ветер не снимал напряжения. Он часами простаивал перед лавкой Фирста, разглядывая вход. Странно — именно этот вход, запущенный и безо всяких украшений, притягивал теперь его глаза. Несколько раз вошел бы уж испросить прощения у старика, да ноги не шли; и потому что не шел, вход в лавку притягивал его. Словно там, в тени, окопалась его тайна. Из крещеных евреев все умерли, в живых остались только самые древние старики. Неужели не тоскуют по утерянным корням?.. Пустой вопрос. Ведь известно ему, что одни Фирсты, они одни, благодаря своей прямоте, бесстрашно приняли смерть. Все прочие жадно хотели жить и — жизнь их поглотила.

Сузи он встретил снова в баре у Гиль. Она бурно обрадовалась, закричала, увидев его: "Кузен мой пропавший, мой чудный кузен!" и осыпала смущающими поцелуями. Ее пухлое лицо в серебряных очках было весело веселостью бар-дамы. Ее подружка, которая сидела подле нее, хихикала, словно кто-то шептал ей на ухо скабрзные словечки. Время было послеобеденное, и в баре было пусто. Подружка Сузи положила ноги на сиденье соседнего стула и сказала, что в детстве принимала кличку "пригульная" за ласкательное слово. Когда спрашивали, как ее зовут, отвечала: "Пригульная". В школе дети ее любили, потому что хорошо плавала. После прозвали пригульной рыбкой. "Ага, верно, — сказала Сузи. — Я тоже звала

тебя пригульной рыбкой”. Они долго еще болтали, и Бруно не вмешивался в разговор. Холодное пиво перебило жажду и притупило ощущения. Из головы вытекли все мысли.

– Почему молчите? – внезапно спросила подружка Сузи.

– Просто так... – удивился Бруно.

– Что у вас на уме?

– Ничего. Ровно ничего.

– Раз так, почему молчите?

– Потому что сказать нечего.

– Вы производите впечатление человека, который что-то замышляет.

– Не обращайтесь на нее внимания, ей чудится, – сказала Сузи.

– Ничего мне не чудится, я все ясно вижу.

– Что ты от него хочешь?!

– Он мне не нравится.

– Он ничего дурного не сделал, – попыталась утихомирить ее Сузи.

– Зачем тогда он появляется там, где его не ждут? Не мешало бы евреям побольше скромности.

– Что ты несешь?!..

– Что на сердце, то и говорю. Терпеть не могу евреев. Наглые они.

Сузи упала на колени и обвила подружку руками.

– Успокойся, – шептала она ей, – успокойся!..

Бруно встал. Вентилятор с длинными лопастями жужжал, как насекомое, попавшееся в сачок. Он хотел было заплатить, но Сузи сделала странный жест и указала на дверь. “Наглец!” – жарко выдохнули ему вдогонку. Его это, как ни странно, не оскорбило. Он вышел на улицу. Время было пять вечера, низкое процеженное солнце стелилось по тротуарам. Редкие голоса долетали с реки и таяли. Издали он увидел ковыляющую Луизу, хотел было подойти, потом вспомнил сказанное ею при последней встрече: “Вы еще здесь?” – спросила она.

Пока он так стоял, появились одна за другой местные супружеские пары. Заметно было, что они только что вышли из дому и направляются в кафе. Да это Штурц, а это – Гофман, – опешил Бруно: его одноклассники по гимназии!

Они прошествовали мимо. Их умеренные, негромко-домашние голоса лишь углубили тишину.

Зато Брум его заметил. Он сидел на скамейке, покойно опершись на палку, поглядывая издали спокойным взглядом. Под усами пряталось подобие улыбки. Их глаза встретились на мгновение и разбежались.

Вечером он вернулся в заведение к Гиль. Гиль была простужена, грустна, и ее маленькое личико так тоскливо осунулось, точно его выскоблили изнутри. Бруно рассказал ей про подружку Сузи. Гиль ответила, что их не разлить водой и это у них продолжается годами. Сузи – сангвиник, подруга склонна к депрессии. Они живут вместе в меблированной комнате, и хозяйка закатывает им скандалы каждую неделю. Ничего не поделаешь. Связь. Неужели это такой тяжкий грех?..

Гиль положила руки перед собой на столик. В пальцах было больше выражения, чем в лице. Усталые пальцы. Бруно теперь испытывал теплую, незроческую близость к ней, и оба пили молча, когда Гиль вдруг спросила:

– Неужели нет для нас другого места, кроме этого?..

– Какое другое место вы имеете в виду?

– Не знаю. Место, которое очистило бы меня. Где не было бы никаких страстей и искусственных увеселений. Вы понимаете меня?..

– Пытаюсь.

– Существует ли вообще такое? Наверное, существует. Только не для меня. Мне иногда мерещится, что меня истязает еврейский бес.

– Вы верите в чертей?

– Нет, не верю. Моя бабка говаривала, что евреи всегда терпели и поэтому они хорошие люди. Эвелин, моей сестре, повезло больше меня. Тоже повезло не до конца. Вышла замуж и развелась. Теперь у нее парфюмерный магазин на Штифтерштрассе. Она похрабрей меня.

Теперь вы расскажите про себя. Бабка любила повторять: "Очи Его испили все муки человеческие, и Он не подавал милостыни; по смерти Его не скажут "от смерти спасает подаяние". Вам это понятно. Она это часто повторяла. И, еще мне припомнилось, говорила: "Отцы ели кис-

лый виноград, а у детей на зубах оскомины". Что значит — "оскомины"?

Сидели запоздно — Гиль говорила, Бруно не издал ни звука. Ее голос едва проникал в него. Постепенно ее лицо потухло и на нем резко выступила худоба. Она встала.

— Хватит, — сказала она. — Пойду лягу. Есть у вас мелочь? — спросила она, когда он уже стоял на пороге. — Я осталась без единого пфеннига. Может, одолжите мне пару пфеннигов?

Бруно протянул ей банкноту в пятьдесят марок, она спасибо не сказала и не смутилась суммой.

Ночью на своей кровати он знал, что его приезд сюда подошел к концу. Вокруг плясали блики зеленой воды, он плыл, но с большим трудом. Внизу на дне, среди коричневых водорослей лежал длинный и грузный Брум. Его недремлющий карий глаз неотрывно следил за Бруно. "Сделаю один мах и уйду от него за тридевять земель", — сказал себе Бруно. Так он и собирался сделать, но, как только шевельнул верхними конечностями, убедился, что его руки успели пустить корень и оторвать их уже будет нелегко.

Дни затем были мгlistые. Неловко стало ему просиживать на парковой скамейке. Широкие тени бродили меж деревьями, будя тревогу; и, хотя его не задевал никто, ему казалось теперь, что все его замечают. Время от времени он чувствовал, что на него смотрят и тотчас отводят глаза.

Он встретил у пекарни Луизу. "Вы еще здесь?" – удивилась она. Его обидело ее удивление, в котором, возможно, не было ничего злонамеренного. Она походила на крестьянку, несущую в себе порчу долгих лет городской жизни, не переделавших, однако, ее походку, грузную и неуклюжую. Она не спросила у него, что он делает или что собирается делать.. Видно было, не слишком рада его присутствию. Зато с Брумом у него состоялось несколько поучительных разговоров. Спокойствие к нему не вернулось, но то, что Брум сидел тут, свидетельствовало о некотором его желании поладить. Несколько дней назад Бруно встретил его в Мельничном переулке, узеньком и полном молчаливой прелести, благодаря аромату вьющихся растений, цветущих в эту пору лиловым цветом. Брум сидел на скамье у входа в трактир. Дело было к вечеру, Бруно устал, находившись за день, хотел поскорей в гостиницу и не был склонен к долгим разговорам. Он обратился к Бруму без обиняков.

– Здравствуйте, господин Брум, рад вас встретить.

– Здравствуйте, – Брум улыбнулся, но на его лице выразилось некоторое смущение. Его усы, казалось, почему-то поредели.

– Вы меня узнаете?

— Что за вопрос! Вы — сын писателя А. Некогда я принадлежал к поклонникам вашего родителя.

— А теперь?

— Теперь он забыт.

Голос Брума звучал так четко, точно он собрался не говорить, а оскорбительно отрезать. Бруно, странным образом, осмелел.

— Почему вы меня избегаете, в таком случае?

— Я? — изумился Брум. — Разве я не отвечаю на вопросы?

Впервые Бруно рассмотрел его вблизи: стар, но крепок. Какое-то горькое прямодушие в лице. Щетина прятала несколько черт, уцелевших от прежних времен, но одно телодвижение, которое Брум, по-видимому, старался побороть и вытравить, исказилось и обернулось дерганьем плеча. Бруно хотел повернуться и идти.

— Я, — повторил Брум, — не увиливаю ни от каких вопросов.

Бруно, как видно, счел этот ответ за некоторое убаженье, а может, и за щелку, приоткрывшуюся навстречу возможности найти общий язык.

— Несколько дней назад я встретил незаконорожденную дочь моего дяди Сало, — сказал Бруно. — Вы, вероятно, помните его.

— Ну, и что?

— Меня это очень растрогало. Фигурой не походит на него, но зато пальцы — те же пальцы.

Брум поднял густые брови, устанавливая дистанцию между собой и этими чересчур интимными словами.

— Разве вы не помните дядю Сало?

— Как не помнить этого повесу? — Брум осклабился странно и широко и встал, как бы не находя интереса в этом пустом разговоре.

Назавтра Бруно его опять встретил, неподалеку от того же переулка, и тут Брум преподнес ему сюрприз: сам заговорил с ним.

— Вы еще здесь? — сказал Брум.

— Еще пару дней.

Вид у него теперь был более бодрый, без всяких призна-

ков повреждения в уме. На широком лице был написан скептицизм старого человека, опустошенного жизнью и расставшегося со всеми мечтами и убеждениями.

— И что же вы делаете? — спросил Брум.

— Ничего не делаю. Гуляю.

— Вас еще не забрала скука?

— Нет. Есть места, которые вызывают во мне воспоминания.

И, посреди такого притворно сдержанного разговора, Брум вдруг выкатил глаза и изрек:

— Я бы сюда не вернулся.

— Почему?

— Потому что женщины здесь потаскухи.

— Не понял...

— Неужели глаза ваши не видят?! Все они. До единой. Моя жена, которой я абсолютно доверял, распутничала, причем самым позорным образом. Я ее выгнал. Теперь понятно? Не надейтесь на женщин. Заведите себе дерево, заведите собаку. Поняли? Что вы устались на меня? Неправду говорю?..

— По-видимому, правда...

— Не говорите "по-видимому"! Ненавижу это слово. Женщина вероломна от рождения. — Брум вскочил на ноги, и на лице у него снова обозначилось его скрытое помешательство. — Не говорите "по-видимому". Я вас предупреждаю!

Резкости, которых Бруно совсем не ждал, вывели его из душевного равновесия. На мгновение у него поплыло перед глазами, как у человека, выронившего драгоценности, перед тем как он бросается собирать их с земли. Он долго ходил взад и вперед в вечерних сумерках, очень долгих в это время года. По низким оградкам уже кудрявились первые ночные тени. Странно, но дурацкий разговор с Брумом не давал ему покоя, и буря улеглась в нем только тогда, когда он уже поднялся на холм, тот самый, который звали заброшенной горкой, и прикоснулся к чахлым стеблям, не поднимающимся выше колен даже в это время усиленного роста. Стояла тишина. Ни звука. Маленький ручеек серебрился в узком ложе, как метал-

лическая струна. В конце лета они приходили сюда с отцом. Оттого, что бывали они здесь только раз в год, место запомнилось ему неповторимым чудом. Сюда отец водил Стефана Цвейга, Вассермана и Макса Брода. Их тоже не оставляла равнодушными разлитая здесь безыскусственная простота. Ничего лишнего. Только сама горка и немного чахлой растительности. И ручей такой же скудный, как все кругом.

Последний год писатели не приезжали, и отец проводил много времени со священником Маурером. Они вели долгие утомительные беседы, затягивавшиеся до поздней ночи. Евреям, считал Маурер, надо как можно скорей эмигрировать в Палестину и строить там жизнь заново. Отец, которого идея сионизма никогда не воодушевляла, отметал эту программу и утверждал, что это не что иное, как антисемитизм, который ищет себе новую личину.

Священник Маурер стоял на своем, объясняя, что он ведет речь исключительно о религиозном чувстве. А также об исторической необходимости. Евреям поневоле быть ведущими. Избранными. При этих словах отец морщился, как будто его угостили какой-то гадостью. Священник Маурер, однако, не сдавался и говорил, что правда еще восторжествует. В лице у него сквозила какая-то суровая прямота. Честность нравоучителя.

Последний разговор, самый трудный, тоже состоялся у них тут, на этой горке. Вокруг все уже дышало враждебностью, отчуждением, скрытой изоляцией. Правда, никто не знал, во что выльется все это, но кругом пахло бедой. "Почему вы не бежите отсюда, — умолял Маурер, — почему не эмигрируете в Палестину?!" В голосе его было нечто от прикладной веры. Так он громоздил доводы и упрашивания, когда отец обнажил голову и сказал:

— Я, во всяком случае, не уеду. Мне лучше быть преданным позору, чем эмигрировать. Ничего дурного я не совершил. Я — австрийский писатель. Никто у меня не отнимет этого звания.

Ошеломленный Маурер повесил голову:

— Не понимаю вашего упрямства...

И всю дорогу, из конца в конец Габсбургского бульвара,

они больше не сказали друг другу ни слова. Когда они вернулись домой, у отца еще дрожали руки. Мать подала рыбу, и на ее вопрос, поможет ли им Маурер, отец отрубил:

— Я живу не по его указке.

Вдруг пошел дождь — по-летнему негусто. Бруно надел пальто и вышел в город. Время было раннее, на площади ни души. Вдоль по тротуару бежали с испуганным видом несколько гимназистов, опоздавших в школу. И только. Редкий дождик вычертил на бульваре мокрые полосы.

В последний год он тащился по этому тротуару с тяжелым ранцем за спиной — одна контрольная позади, впереди другая. Контрольные в последней четверти были трудные, но он одолел их все. Превосходные отметки, которые он приносил домой, не радовали маму. Теперь к нему вернулось нечто от этого запрятанного горя, последнего горя его матери.

Он чувствовал, что текущая понизу воздушная прохлада толкает его вперед. Дождь ограничил видимость, и тем не менее Бруно заметил, что у Лауфера в магазине подняли штору, и свет зажегшегося фонаря осветил конторку. Именно эта конторка приковала к себе его глаза. Странное дело, подумалось ему. Благодаря своей пассивности, вещи живут дольше. Иначе нельзя понять, как они уцелывают от таких метаморфоз. Ведь не скажешь же, что они лишены чувствительности. И, пока складывалась эта мысль, — свет в магазине погас, и витрину затянуло легкой завесой мглы.

Теперь он остался наедине с собою, посреди той неопределенной погоды, которая равно плоха и хороша. В пальто и ботинках ему было тепло и сухо. Он миновал "Цветочный букет", затем миновал трактир, и люди, которых он встречал теперь, не задерживались. Одни спешили в продуктовую

лавку, другие в пекарню. В воздухе разлился запах свежего хлеба и растаял.

Теперь Бруно заметил: встретившее его по приезде пышное цветение иссякло, словно не бывало. Деревья зазеленели, завязывались плоды. Если б не туман, не рассеивавшийся и на открытой площади, он бы увидел, что летние дожди оставили на стене дома Розенбергов несколько грубых пятен.

Почему-то вспомнилась Сузи, как она стоит на коленях перед своей подругой и пытается успокоить ее. Странен и резок был жест, которым она попросила Бруно оставить залу. Словно под рукой у нее была злая собака. Но теперь, по прошествии нескольких дней это показалось ему материнским движением — вроде отчаянной попытки защитить расшалившегося ребенка. Они жить друг без друга не могут, сказала Гиль. Теперь он понимает мучительность такой связи. Теперь он понимает, почему у Гиль были такие глаза, когда поверила ему этот тягостный секрет. Так он шел и размышлял на ходу. Туман под деревьями свертывался и таял, в верхушках заиграло солнце.

Тут он заметил японца, идущего ему навстречу. Уже несколько дней, как Бруно его не встречал. На мгновение Бруно захотелось свернуть, но тот уже был рядом. Низенький, коренастый, небритый и словно бы после какой-то грязной драки.

— Вы еще здесь? — спросил японец. Его голос, несмотря на усилие притвориться обыкновенным, звучал бессильно и безвольно.

Завтра он распрощается с Австрией. Не может он больше выносить эту чуждость. Если будет еще учиться, так в Токио. Как поживает Гиль? Он засмеялся. Здесь у него пропали два года жизни. Гиль тоже относится к этой потере. Придется теперь наверстать упущенное. Он говорил на ужасном немецком языке, но его намерения были совершенно ясны. Отсюда не берет ничего, даже воспоминания о Гиль не увезет с собой. Он говорил с печальной трезвостью, и его вид был выразительнее его слов. Они распрощались, пожав друг другу руки. Японец перешел улицу,

и его короткие ноги поспешно пересекли и соседний переулок.

Незаметно Бруно очутился в узком Грабенском переулке. Утренний туман рассеялся, и в переулке стоял чистый и беспримесный дух летнего дождя. В трактире хозяин с женой сидели за завтраком. Они ели, не обмениваясь друг с другом ни словом. Мужчина на вид не более тридцати пяти, но внешностью — точь-в-точь эсэовец на погрузке железнодорожного транспорта. Из тех, что злобно заталкивали людей в набитые вагоны. Они — живут, сказал себе Бруно с чувством, какого никогда еще не испытывал при этой мысли.

Было уже одиннадцать часов дня, и он проголодался. В ближнем буфете он заказал себе яичницу и кофе. Транзистор оглашал пустое помещение ритмичной музыкой. Буфетчик принес кружку и тарелку и поставил перед ним без единого любезного слова. Рассержен, как понял Бруно, неурочное время для гостей. Он сидел за тем же столиком, за которым не так давно они сидели с Луизой. Воспоминание о Луизе не обрадовало его. Он уплатил и быстро пошел к выходу. Буфетчик проводил его долгим недовольным взглядом. Бруно хотел было вернуться спросить о причине такого нелюбезного приема, но тот ушел на кухню, оставив после себя глухой звук захлопнувшейся двери.

В воздухе стоял запах нехорошей сырости. Бруно забыл, что это время туманов. Мгла рассеялась, но солнца больше не было. Выкrest Фирст стоял на пороге своей лавки и курил трубку. Кроме старости, его поза не выражала ничего.

Гиль он встретил возле "Цветочного букета". Выглядит плохо, одета неряшливо и вся, с ног до головы — сплошная обида бар-дамы, которую выбросили на улицу. Несколько дней назад поссорилась с владельцем бара. Потеряла работу. Лицо утомленное, с резкими чертами — лицо решительной женщины, не знающей, к чему применить свою решимость. И, коль скоро не известно, к чему ее применить, остается есть поедом самое себя. "В нас гнездится что-то порочное", — слетело у нее с языка. Бруно попробовал переубедить ее, но она стояла на своем. "В нас ка-

кой-то порок". Теперь это прозвучало упреком. Почему-то Гиль принялась рассказывать о предшествовавших бару временах, о своей семье. В гимназии она пробыла недолго. Алгебра и латынь преследовали ее как кошмар: приносила домой ужасные отметки, отец бесился из-за выброшенных денег. Мать, в жилах которой текла больная еврейская кровь, недолго протянула. Так или иначе, пришлось идти работать. Начала официанткой в "Континентале". Правду сказать, хорошие были денечки. Точно хмель в жадном до опьянения теле. Только деньки эти похерило все последующее. "Знакомо, как собственная ладонь", — перебил Бруно, пробуя увести ее от этой темы; пустые слова, и Гиль так к ним и отнеслась. Осунувшееся лицо побледнело, суставы пальцев торчали, выдавая скрытую беду. Бруно сказал:

— Найдете другую работу.

Это бесполезное утешение зажгло у нее в глазах темно-зеленый злой огонь.

— Вы думаете, не знают, кто я такая? — сказала она. — Отец потрудился раззвонить повсюду. В приличный клуб мне хода нету, даже в официантки не возьмут.

— Плевать мне было бы на них, — проговорил Бруно.

— Легко сказать.

Слова иссякли, Бруно уже не нашелся и встал:

— Давайте заплатим; уплатим сначала.

Лонка собрала монеты и отнесла их на стойку.

— Вы знаете Фирста? — спросил Бруно, когда они спустились по ступенькам.

— Хозяин табачной лавки?

— Он, вы знаете, из крещеных евреев.

— Я, — сказала Гиль, — не люблю рыться у людей в их прошлом.

И так они и расстались. Гиль не поблагодарила и не спросила, когда они увидятся снова. Худое лицо застыло в ледяном отчаянии. Бруно не стал задерживать и не поинтересовался, куда она собирается идти. Остаться одному — им владело одно это эгоистическое желание.

Он долго бродил без всякой цели. Пальцы наливались странной силой, в ногах ощущалась удивительная легкость.

Если б не разоблачительный свет дня, он кинулся бы в реку и переплыл ее. К ночи он пришел в трактир.

И, когда он тут сидел, пил и задремывал, он вдруг увидел то, что во все его дни здесь было от него заслонено: Иерусалим. Деревья на улице Ибн Габирола отбрасывают тени на тротуар, прохладный ветер продувает улицы. Два старика сейчас повернут направо, на улицу Авраванеля. Минна стоит у окна и не сводит глаз со стариков.

Последние дни в Иерусалиме, горечь и ссоры. Минна сидит на кушетке с широко раскрытыми глазами, и в глазах нет любви. Третий выкидыш, самый тяжелый, украл последнюю ее нежность. Губы сжаты, движения обдуманы. Ни единого лишнего жеста. Но именно непривычная эта целесообразность будит в нем смутное беспокойство. Минна взялась снова за свою заброшенную дипломную работу. Стол завален книгами и тетрадями. "Не нуждаюсь в отдыхе", — слышит Бруно, когда спросит, бывало, почему она не дает себе покоя. В широко раскрытых ее глазах нет любви. Миновала осень, и холодная зима запеленала ее еще прочней. С каждым днем она становилась все более потерянной для него. Его ноги в шерстяных носках лишь усилили отчуждение. И тут посыпались письма: дифирамбы его отцу из Вены. Как ему быть, так поступить или эдак — этого Минна не говорила. Она была занята дипломом. И он перестал ее уговаривать.

В феврале она возвращалась из университета промокшей и закутывалась в одеяло. В фигуре, свернувшейся на кровати, не было никакой прелести. И, когда он бросал: "Я ухожу", она не спрашивала — куда. Краски в ее широко раскрытых глазах загустели, и в них начало посвечивать каким-то резко-зеленым.

Так он и уехал — как бросаются в реку. Минна проводила его в Лод. Глаза ее не переменили краску. Они были зелеными, застывшими.

— Вам пива? — спросила официантка.

— Коньяку, если можно.

— В это время уже запрещается подавать спиртное.

— В таком случае, пива.

Бруно выпил и повторил. И, чем больше он пил, тем

ярче проступал в глазах у Минны другой их цвет — фиолетовый, любимый до боли в сердце. Теперь он понял. Что-то в ней, но не она сама. Куча врачей, собравшаяся у ее постели. Эти вопросы. Этот взгляд доктора Грауля. Только когда они убрались, она затряслась от запоздалых рыданий. Но назавтра глаза были уже сухие. И она не просила больше принести ей конфет.

Через неделю он привез ее на такси домой. Она двинулась напрямую решительным шагом. Ноги в ее закрытых туфлях посинели, точно после побоев. О том, куда ей возвращаться, она не спрашивала. Она вернулась к своим тетрадям. Родители оставили ей в наследство слишком много страданий. Ее родители встретились в Освенциме. Минна родилась в первом году после лагеря. Они были немолоды. Минна родилась в Неаполе, на берегу.

Странно, никогда мы об этом не говорили, подумал Бруно. "Нечего рассуждать, — постоянно говорила Минна, — не досталось мне от родителей никакой красоты, и чести тоже". Но и Бруно не распространялся о своих. Отец, отец! Незаживающая рана.

— Сколько я должен? — спросил Бруно и вышел.

Настала ночь и озарилась сиянием, отраженным рекой. Он стоял на узкой Грабенштрассе, неподалеку от пекарни, предчувствуя уже, что вскоре опять скроется и исчезнет все, что ему тут открылось, и тут он увидел фигуру, сидящую в парке на скамье. Фигура сидела неподвижно, объятая тенью, словно завернутая в еще один пласт молчания.

— Алло, — послышался голос.

— Странно, — проговорил Бруно про себя. — Чего хочет этот от меня теперь, когда я здесь больше никому ничего не должен.

— Я Брум.

— Очень приятно, — сказал Бруно и услышал свой голос, словно он донесся до него по рации.

Бруно двинулся к скамье, и в это время Брум встал на ноги и решительно выпрямился.

— Как поживаете? — сказал Бруно. — Нельзя ли вас пригласить на ночной кофе?

— С чего это вам вздумалось, — промолвил Брум не без откровенной язвительности.

— По праву старой дружбы.

— Я порвал со всем, что вы именуете старым. Мое прежнее бытие не вызывает во мне ничего, кроме отвращения.

— Простите, в таком случае.

— Вы чересчур долго находитесь здесь, — сказал Брум властным голосом мелкого чиновника.

Это замечание, произнесенное, надо заметить, вполне спокойно, вывело Бруно из себя. В ответ он выразился в том смысле, что каждый волен делать, что хочет. И добавил:

— Мы живем не по вашей указке.

— Да, возможно вы правы, но все равно непорядочно это — заявиться сюда и будить тут темные силы.

— Темные силы, говорите?

— Именно.

— Я попрошу вас взять свои слова обратно! — рассердился Бруно.

— Не собираюсь отказываться от того, что сказал. Как вы сюда приехали, так беспокойно стало. Опять евреи. Опять это наваждение. Ведь, кажется, кончилось!..

— Нет, не кончилось, — зло проговорил Бруно. — Во всяком случае, для меня.

— Взываю к вашему здравому рассудку, — сказал Брум. — Не будите и не сейте смуту.

— Это наглость, — сказал Бруно. — А вам еще говорить такое — так это тем большая наглость.

— Ничего, как вижу, в вашей натуре не переменялось. Еврейское нахальство живет и здравствует.

Слова окатили Бруно своей неприкрытостью, он подскочил к Бруму и проговорил, схватив за пальто:

— Антисемитизма из ваших уст не позволю. От вас я ожидаю хоть малость, по крайней мере, раскаяния!..

Брум, опешив, как видно, от такого наскока, высвободился и замахнулся тростью:

— Евреи меня не пугают!

И Бруно, которому руки жгло от оскорбления, снова схватил его за пальто и толчком повалил на землю. Брум выпрямил ноги и выпалил, приподнявшись на руках:

— Евреи — смерть как их ненавижу!..

Чужая сила гудела в Бруно. Нагнувшись, он стукнул Брума в лицо. К его удивлению, Брум не подумал звать на помощь, и не только это — он презрительно повернул физиономию, точно имел дело с ночным духом, с чертом, не с человеком.

— Теперь тебе полегчает, — отступая промолвил Бруно.

Свет ночи озарил побитое лицо Брума. По усам текла узкая струйка крови.

— Можешь теперь иметь претензии.

Брум не отвечал. Только обтер рукавом влажные усы.

Лицо у него теперь было до ужаса безобразным. Правый глаз дико вращался, как бы в попытке втянуть вовнутрь свой взгляд. Левый глаз был неподвижен.

– Лежи и не вставай, – предупредил Бруно и пошел прочь.

В ту же ночь он уложил чемодан, втиснул в него рубашки и сувениры. Чемодан округлился, как вздутый живот. Мысль о том, что Брум лежит сейчас в парке на земле, его не пугала. Он чувствовал странное жжение в руках. Словно еще была на взводе в пальцах та, чужая, сила. Он уплатил по счету целиком и отдельно вознаградил горничную. От завистливого взгляда хозяйки это не укрылось: "Тебе, Тортель, вечно перепадает ни за что", – пробурчала она. Какое-то странное чувство тянуло его назад в парк – посмотреть, лежит ли еще на земле Брум. На него, однако, напала усталость, он смежил веки. Моментально его выручил сон. Чем свет он забрал чемодан и отправился на станцию, не попрощавшись. Утренний кофе он пил в буфете.

Кофе был горький, и он сглатывал его маленькими глотками, точно спиртное. Двери пакгаузов были на запоре. Первый свет утра реял по краю крыш. "Почтовый придет в шесть", – донесся до него голос подавальщицы. "Вот и все", – пробежало у него в уме. Он был легкий – та легкость, что после глубокого сна, только в коленях почему-то ощущалась некая тяжесть. Он заказал еще кофе, подсластил, добавил молока. Механическое помешивание разбудило в нем чувство расставания. Пирожные в витрине были засохшие, но он попросил себе одно. Подавальщица поставила пирожное перед ним, и он обмакнул его в кофе. Времени было половина шестого, прозрачное утреннее солнце спустилось с крыш и разостлалось на камнях площадки. Камни были мокрые. Никаких воспоминаний; он ничего не помнил. Словно пожрало их всё, без следа.

– Скоро поезд? – спросил он.

– В шесть, – сказала подавальщица.

– Приходит вовремя?

– Обычно да.

Странно: вопросы и ответы слышались ему как бесформенные звуки. Тонкая боль – остаточный след прошлой

ночи – прозмеилась в поясище с правой стороны. Он встал, разогнулся, выпрямился и зашагал по освещенной площадке.

”Брум, ты можешь подать на меня жалобу”, – подумал он уже по пути на перрон. Лицо усмехнулось словно само по себе. Не его были и подумавшиеся ему слова. Он долго стоял опустошенный, безо всякой мысли. И невольно его глаза приковались к семафору – в ожидании, когда поднимется семафорное крыло и гудок паровоза пробьет себе дорогу.

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מחלקת ספרים לעולים
בית ארנסט יין - ספריה
מס. מלאי

74937/1

עיריית חיפה / מינהל התחזוק
אגף המדעים ומסודר אישים מס. 1000000
המספרים הצבועים צייל 1000000

מס'

74937/1

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Гершель. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ

31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалиа Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА

66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник
И. Кауфман. БИБЛЕЙСКАЯ ЭПОХА
Л. Финкелстайн. ЕВРЕЙСКАЯ ВЕРА И ПРЕТВОРЕНИЕ
ЕЕ В ЖИЗНЬ
Ш. Эттингер. КОРНИ СОВРЕМЕННОГО АНТИСЕМИТИЗМА
67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЬ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н. Бялик и И.Х. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД – ИЕРУСАЛИМ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС – 1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЕВРЕЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муња М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА. Сборник интервью
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ – ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
также по адресу:
Р. О. В. 21650
61216 Tel-Aviv
ISRAEL**

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Гилель Бутман. **ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ.**

Продолжение книги "Ленинград – Иерусалим с долгой пересадкой".

Василий Гроссман. **ИЗБРАННОЕ.** Послесловие и примечания С.Маркиша.

Жизнь и творчество советского писателя Василия Гроссмана (1905–64), имя которого в его стране почти забыто, а за пределами Советского Союза прежде не было известно вообще, – интересны и поучительны для самых разных людей. Среди аспектов творчества В.Гроссмана есть один, может быть, и не главный, но самый важный для издателей этого сборника – это еврейский аспект.

Голда Меир. **МОЯ ЖИЗНЬ.** Пер. с английского. В двух томах.

Автор книги (1898–1978) – политический и государственный деятель, 4-ый премьер-министр Государства Израиль (1969–74). Голда Меир рассказывает о себе – девочке, родившейся в бедной семье в Киеве и бежавшей от безысходной нищеты в Америку, где она заканчивает учительскую семинарию, а затем, в 1921 г., уезжает в Эрец-Израэль. Вся ее последующая жизнь неразрывно связана с историей ишува и Государства Израиль. Это автобиография одной из самых выдающихся женщин 20-го века.